Винтаж

Тартарен из Тараскона

Альфонс Доде



2. Тартарен на Альпах
Альфонс Доде

Аннотация
Альфонс Доде. Тартарен из Тараскона
КНИГА ВТОРАЯ. Тартарен на Альпах. Новые подвиги тарасконского героя

I. Появление незнакомца, в «Риги-Кульм». Кто он? Что говорилось за столом, накрытым на шестьсот персон. Рис и чернослив. Импровизированный бал. Незнакомец расписывается в книге для приезжающих. П.К.А.

II. Тараскон — поезд стоит пять минут! Клуб альпинцев. Что такое П.К.А. Кролики садковые и кролики капустные. «Вот мое завещание». Мертвецкий сироп. Первый подъем. Тартарен вынимает очки

III. Тревога на вершине Риги. Спокойствие! Спокойствие! Альпийский рог. Что Тартарен, проснувшись, обнаружил на зеркале. Замешательство. Проводника вызывают по телефону

IV. На пароходе. Идет дождь. Тарасконский герой приветствует тени героев умерших. Правда о Вильгельме Телле. Разочарование. Тартарен из Тараскона никогда не существовал. «Эге! Да

это Бомпар!»
V. Откровенный разговор в туннеле
VI. Брюннигский перевал. Тартарен попадает в лапы к нигилистам. Исчезновение итальянского тенора и авиньонской веревки. Новые подвиги стрелка по фуражкам. Бах! Бах!
VII. Тарасконские вечера. Где он? Недоумение. Цикады на Городском кругу зовут Тартарена домой. Муки тарасконского страстотерпца. Клуб альпинцев. Что произошло в аптеке. Ко мне, Безюке!
VIII. Достопамятный разговор Юнгфрау с Тартареном. В гостиной у нигилистов. Дуэль на охотничьих ножах. Страшный сон. «Вы ко мне, господа?» Необычный прием, оказанный тарасконской депутации содержателем отеля Мейером
IX. В «Ручной серне»
X. Восхождение на Юнгфрау. «Гляньте: быки!» Шипы Кеннеди никуда не годятся, спиртовка тоже. В домике Клуба альпинистов появляются люди в масках. Президент падает в расселину. Там он теряет очки. На вершине! Тартарен превращается в бога
XI. Назад, в Тараскон! Женевское озеро. Тартарен предлагает осмотреть темницу Бонивара. Краткий разговор среди роз. Вся компания под

замком. Злосчастный Бонивар. Где нашлась авиньонская веревка
XII. Отель Бальте в Шамони. Пахнет чесноком! Нужна ли при восхождении на Альпы веревка? Shake handes! Последователь Шопенгауэра. На привале в Гран-Мюле. «Тартарррен! Мне нужно с вами поговорить...»
XIII. Катастрофа
XIV. Заключение
КОММЕНТАРИИ

Аннотация

Не каждому автору удается создать литературный персонаж, чье имя станет нарицательным. Французскому писателю Альфонсу Доде это удалось. Герой его трилогии — Тартарен из Тараскона, трусоватый, хвастливый, неистребимо жизнерадостный авантюрист, в котором соединились черты Дон Кихота и Санчо Пансы, прославил Доде на всю Европу. Во второй книге неутомимый стрелок по фуражкам оказывается в Швейцарии и даже совершает восхождение на Монблан, он общается с русскими нигилистами-революционерами и лишь чудом уклоняется от участия в покушении на жизнь русского императора.

Альфонс Доде
Тартарен из Тараскона

КНИГА ВТОРАЯ.
Тартарен на Альпах.
Новые подвиги тарасконского героя

I

Появление незнакомца, в «Риги-Кульм». Кто он? Что говорилось за столом, накрытым на шестьсот персон. Рис и чернослив. Импровизированный бал. Незнакомец расписывается в книге для приезжающих. П.К.А.

Десятого августа 1880 года, в час сказочно прекрасного заката на Альпах, прославленного путеводителями Жоанна и Бедекера, непроницаемый желтый туман и хлопья снега в виде белых спиралей заволакивали вершину Риги (*Regina montium*[1]) и громадный отель, крайне необычно выглядевший среди этих диких горных хребтов: то был знаменитый «Риги-Кульм», сверкавший стеклами окон, словно обсерватория, построенный не менее прочно, чем крепость, — отель, куда на одни сутки толпами стекаются туристы, чтобы полюбоваться восходом и заходом солнца.

В ожидании второго звонка к обеду постояльцы этого необъятного роскошного караван-сарая

---

[1] Примечания: 1
царицу гор *(лат.)*

скучали наверху, в своих номерах, или, пригретые влажным теплом калориферов, развалясь на диванах в читальном зале, уныло смотрели, как вместо обещанного дивного зрелища в воздухе кружатся белые мухи и как зажигаются у подъезда огромные фонари, поскрипывая на ветру двойными дверцами.

Стоило для этого тащиться такую даль, взбираться на такую крутизну… Эх, Бедекер!..

Вдруг что-то выплыло из тумана и, лязгая железом и производя нелепые телодвижения, вызывавшиеся обилием каких-то необыкновенных приспособлений, направилось к отелю.

Скучающие туристы, все эти английские *мисс,* забавно подстриженные «под мальчика», прильнули к стеклам и, шагах в двадцати различив сквозь метель некую фигуру, приняли ее сперва за отбившуюся от стада корову, потом за обвешанного инструментами лудильщика.

Шагах в десяти фигура вновь изменила обличье: за плечами у нее вырос арбалет, а на голове шлем с опущенным забралом, но чтобы среди горных высей возник средневековый лучник — это показалось еще менее вероятным, чем появление коровы или лудильщика.

Когда же владелец арбалета остановился на

крыльце отдышаться и стряхнуть снег с желтых суконных наколенников, с такой же фуражки и вязаного шлема, из-под которого торчали лишь клочья темной с проседью бороды да огромные зеленые очки, похожие на стереоскоп, то оказалось, что это самый обыкновенный человек, толстый, коренастый, приземистый. Ледоруб, альпеншток, мешок за спиной, связка веревок через плечо, «кошки» и стальные крючья у пояса, стягивавшего английскую куртку с широкими язычками, дополняли снаряжение этого безукоризненного альпиниста.

На пустынных высях Монблана или Финстерааргорна такая оснастка показалась бы естественной, но в «Риги-Кульм», в двух шагах от железной дороги!..

Впрочем, альпинист шел с противоположной стороны, и вид его наколенников свидетельствовал о долгом переходе по снегу и грязи.

Недоуменным взглядом окинул он отель и все его пристройки, — по-видимому, он никак не ожидал встретить на высоте двух тысяч метров над уровнем моря столь внушительное здание, семиэтажное, многооконное, со стеклянными галереями, с колоннадами, с широким крыльцом, освещенным двумя рядами фонарей, придавав-

ших этой горной вершине сходство с площадью Оперы в зимние сумерки.

Но как ни был удивлен пришелец, а постояльцы отеля были еще больше удивлены, и едва он вошел в просторную прихожую, толпа любопытных повалила туда из всех зал: мужчины с биллиардными киями и развернутыми газетными листами, дамы с книгами или рукодельем; на верхней площадке лестницы тоже показались люди и, перегнувшись через перила, уставились на него.

Пришелец заговорил громоподобным голосом, этаким «южным басиной», звучащим, как цимбалы:

— Разэтакий такой! Ну и погодка!..

Внезапно смолкнув, он снял очки и фуражку.

У него захватило дух.

Слепящие огни, тепло, исходившее от газовых рожков и калориферов, после мрака и холода снаружи, затем эта пышная обстановка: высокие потолки, привратники в галунах и в адмиральских фуражках, на которых золотыми буквами было написано Regina montium, белые галстуки метрдотелей, целый батальон сбежавшихся по звонку швейцарок в национальных костюмах, — все это огорошило его, впрочем, только на одну

секунду.

Заметив, что все на него смотрят, он приосанился, как артист перед битком набитым зрительным залом.

— Чем могу служить?.. — процедил сквозь зубы шикарный директор в полосатой визитке, с холеными бакенами, завитой на манер дамского портного.

Альпинист, нимало не смутившись, спросил себе номер, «маленький удобный номерок», спросил так непринужденно, будто перед ним стоял не величественный директор, а старый школьный товарищ.

Он даже чуть было не вспылил, когда к нему подошла горничная, уроженка Берна, с подсвечником в руке, в плотно обтягивавшем ее золотом корсаже, с пышными тюлевыми рукавами, и спросила, не угодно ли ему подняться на лифте. Он был бы не менее возмущен, если б ему предложили совершить преступление.

— Чтобы я… чтобы я… на лифте!.. — И от его крика, от его жеста пришли в движение все его доспехи.

Внезапно смягчившись, он сказал швейцарке:

— Нет, я по образу пешего хождения, моя кошечка…

И пошел вслед за ней, глядя в упор на ее широкую спину и всех по дороге расталкивая, меж тем как по отелю пробегала одна и та же скороговорка: «Это еще что такое?» — повторявшаяся на всех языках земного шара. Но тут раздался второй звонок к обеду, и о необыкновенном человеке тотчас же все позабыли.

Столовая в «Риги-Кульм» — зрелище воистину потрясающее.

На шестьсот персон накрыт был огромный, в виде подковы, стол, на котором длинными рядами, вперемежку с живыми растениями, стояли блюда, полные рису и чернослива, и в их светлом и темном отваре отражались неподвижные огоньки люстр и позолота лепного потолка.

Как за всеми швейцарскими табльдотами, рис и чернослив делили здесь обедавших на два враждебных лагеря, и по одному тому, какой взгляд бросали вы заранее на то или иное десертное блюдо, — взгляд, исполненный ненависти или вожделения, — можно было сразу определить, к какой партии вы принадлежите. Рисолюбы отличались худобой и бледностью, черносливцы — полнокровием.

В тот вечер черносливцев оказалось, во-первых, больше, а во-вторых, к ним примкнули

наиболее важные особы, европейские знаменитости, как, например, выдающийся историк, член Французской академии Астье-Рею, старый австро-венгерский дипломат барон фон Штольц, лорд Чипндейл (?), член Джокей-клоба со своей племянницей (гм! гм!), знаменитый профессор Боннского университета Шванталер и перуанский генерал с восемью дочерьми.

Между тем рисолюбы могли им противопоставить лишь таких светил, как бельгийский сенатор с семейством, супруга профессора Шванталера и возвращавшийся из России итальянский тенор, щеголявший своими запонками величиною с чайное блюдечко. Неловкость и натянутость, которые чувствовались за столом, по всей вероятности вызывались именно тем, что здесь столкнулись два противоположных течения. Иначе как же объяснить, что все эти шестьсот персон, надутые, хмурые, подозрительные, хранили упорное молчание и смотрели друг на друга с величайшим презрением? Поверхностный наблюдатель приписал бы это нелепой англосаксонской чванливости, которая в мире путешественников всюду задает теперь тон.

Нет, нет! Существа, еще не потерявшие образа человеческого, не возненавидят друг друга с пер-

вого взгляда, не станут только из-за того, что они незнакомы, задирать нос, кривить рот и смотреть свысока друг на друга. Тут кроется нечто иное.

Я вам уже сказал: рис и чернослив. Вот причина мрачного молчания, повисшего над обеденным столом в «Риги-Кульм», а между тем, принимая во внимание многочисленность разноплеменных гостей, обед мог бы здесь пройти так же шумно и оживленно, как если б он был устроен у подножья Вавилонской башни.

Когда альпинист вошел, вид залитой светом люстр трапезы молчальников привел его в некоторое замешательство; он громко откашлялся, но на него никто не обратил внимания, — тогда он сел с краю стола, в самом конце залы. Без доспехов, это был теперь обыкновенный турист, но в самой внешности этого человека, плешивого, с брюшком, с остроконечной густой бородкой, с величественным носом и добрыми глазами, глядевшими из-под пушистых сердитых ресниц, было что-то особенно привлекательное.

Кто же он: рисолюб или черносливец? Это пока еще представляло загадку.

Только успев сесть, он беспокойно заерзал на стуле, потом испуганно вскочил.

— А, чтоб его!.. Сквозняк!.. — воскликнул он и

устремился к свободному стулу в середине залы, прислоненному спинкой к столу.

Служанка, родом из кантона Ури, в белом переднике, увешанном серебряными цепочками, остановила его:

— Это место занято, сударь…

Но тут сидевшая рядом девушка, у которой видна была только шапка светлых волос над белоснежной шеей, сказала, не оборачиваясь, с сильным акцентом:

— Нет, оно свободно… Мой брат болен и сегодня не выйдет к столу.

— Болен? Болен? — участливо, почти встревоженно спросил альпинист, садясь за стол. — Надеюсь, не опасно, а?

Он произнес — «э». Эту частицу он вставлял во все свои фразы вместе со словами-паразитами, вроде: «Что, ну что, а ну, а да ну, ух ты, ишь ты, гляньте-ка, э-эх, все-таки», которые еще резче подчеркивали его южное произношение, а юной блондинке оно, по-видимому, не нравилось, потому что она, ничего ему не ответив, окинула его ледяным взглядом бездонно глубоких темно-синих глаз.

Сосед справа тоже не очень к себе располагал; это был итальянский тенор, ражий детина

с низким лбом, маслеными глазками и воинственными усами, которые он начал сердито покручивать, как только его разъединили с хорошенькой соседкой. Но добрый наш альпинист любил поговорить за едой, — он считал, что это полезно для здоровья.

— Ишь ты! Какие красивые запонки!.. — вслух заговорил он сам с собой, посматривая на манжеты итальянца. — На яшме вырезаны ноты — *прррэлэстно!..*

Его голос, в котором слышался металл, рокотал в полной тишине и не будил ни малейшего отзвука.

— Вы, наверно, певец? *Чтэ*?

— *Non capisco*...[2] — пробурчал себе под нос итальянец.

Альпинист с сокрушенным сердцем начал есть молча, но куски застревали у него в горле. Наконец, как только сидевший против него австро-венгерский дипломат потянулся дрожащей от старости сухонькой ручкой, которую обтягивала митенка, к горчичнице, он предупредительно подвинул ее.

— Пожалуйста, барон...

---

[2] Примечания: 2
не понимаю... *(итал.)*

Он слышал, что все именно так обращались к дипломату. Но вот горе: бедный фон Штольц, несмотря на то что он производил впечатление человека хитроумного, искушенного в дипломатических тонкостях, давным-давно растерял все слова и мысли и теперь путешествовал в горах для того, чтобы вновь обрести их. Он поднял свой безжизненный взор, остановил его на незнакомом лице, затем молча опустил. Нужно было, по крайней мере, десять старых дипломатов с такими же умственными способностями, как у него, чтобы совместными усилиями составить формулу самой обыкновенной благодарности.

При этой новой неудаче лицо альпиниста приняло свирепое выражение, и по той стремительности, с какой он схватил бутылку, можно было подумать, что он сейчас запустит ею в старого дипломата и проломит ему немудрую голову. Ничуть не бывало! Он просто-напросто решил предложить вина своей соседке, но она была поглощена беседой вполголоса с двумя молодыми людьми, сидевшими рядом с ней, поглощена приятным для слуха, оживленным щебетом на каком-то непонятном языке и не слыхала, что он к ней обратился. Она беспрестанно наклонялась к своим собеседникам. Над ее маленьким

прозрачным розовым ушком блестели при свете люстр завитки светлых волос… Кто она: полька, русская, норвежка?.. Во всяком случае, северянка. Тут южанин невольно вспомнил песенку своего родного края и преспокойно стал ее напевать:

Севера звезда, графиня!
Вижу я: вас нынче вновь
Серебром осыпал иней,
Чистым золотом — Любовь[3].

Все обернулись: уж не сошел ли он с ума? Южанин покраснел и молча уткнулся в свою тарелку, но потом все же встрепенулся — только для того, чтобы оттолкнуть поданное ему сладкое блюдо.

— Опять чернослив!.. Да ни за что на свете!

Это было уже слишком.

Все задвигали стульями. Академик, лорд Чипндейл(?), боннский профессор и другие важные персоны из партии черносливцев встали и в знак протеста покинули зал.

Рисолюбы почти тотчас же последовали за ними, так как и другие десертные блюда были отвергнуты альпинистом не менее решительно.

Ни рис, ни чернослив!.. Но тогда что же?..

---

[3] Примечания: 3
Слова песни принадлежат Ф.Мистралю (1830-1914).

Все направились к выходу, и было что-то леденящее в этом молчаливом шествии поднятых носов и надменно поджатых губ мимо несчастного альпиниста, — подавленный всеобщим презрением, он остался один в огромной, ярко освещенной зале как раз в ту минуту, когда, накрошив хлеба, он собирался приготовить себе блюдо, которое так любят на юге!

Друзья мои, не презирайте никого! Презрение — это козырь в руках выскочек, позеров, уродов и глупцов, личина, за которой прячется ничтожество, а иногда и низость, и которая прикрывает отсутствие ума, собственного мнения и доброты. Все горбуны исполнены презрения, все курносые морщат и задирают свой нос при виде носа прямого.

Добрый альпинист это знал. Ему было уже за сорок, он уже переступил через «роковой сороковой», он находился в той поре, когда человек подбирает и находит волшебный ключ, отмыкающий потайные двери жизни, за которыми открывается однообразная обманчивая анфилада; он отлично знал цену жизни, сознавал всю важность своего назначения, понимал, к чему обязывает его громкое имя, а потому его нимало не беспокоило, что о нем думают эти господа.

Ведь ему стоит только назвать себя, крикнуть: «Это я!..» — и все эти надменно выпяченные нижние губы тотчас расплывутся в почтительной улыбке. Но инкогнито его забавляло.

Он страдал лишь оттого, что не мог разговаривать, шуметь, откровенничать, отводить душу, пожимать руки, фамильярно похлопывать по плечу, называть собеседников уменьшительными именами. Вот что угнетало его в «Риги-Кульм».

Особенно он страдал оттого, что не мог разговаривать!

«Этак и типун на языке вскочит...» — рассуждал сам с собой бедняга, слоняясь по отелю и не зная, чем заняться.

Он зашел в кафе, обширное и пустое, как собор в будни, подозвал официанта, назвал его «мой милый друг» и заказал «кофе, но только без сахару. *Чтэ?».* И хотя официант не спросил его: «А почему без сахару?» — альпинист поспешил добавить: «Эта привычка осталась у меня от того времени, когда я охотился в Алжире».

Ему не терпелось рассказать о своей замечательной охоте, но официант, неслышно, как привидение, ступая в своих мягких туфлях, полетел к лорду Чипндейлу, — тот, развалясь на

диване, каркал: «Чимпэньского!.. Чимпэньского!» Выстрелила пробка, а затем в наступившей тишине было слышно лишь, как воет ветер в трубе монументального камина да прерывисто шуршит снег, ударяясь о стекла окон.

Читальный зал тоже наводил тоску: у всех в руках газеты, сотни голов склонились под рефлекторами над длинными зелеными столами. Время от времени слышится зевок, покашливанье, шелест переворачиваемых листов, и, возвышаясь над тишиной этой классной комнаты, спиной к печке стоят неподвижно два жреца официальной истории, Шванталер и Астье-Рею, оба величественные, оба одинаково пропахшие плесенью, по прихоти судьбы встретившиеся на вершине Риги после того, как они тридцать лет подряд ругательски ругали друг друга и в объяснительных записках выражались не иначе, как «Круглый дурак Шванталер… *Vir ineptissimus*[4] Астье-Рею…»

Можно себе представить, какой прием оказали они общительному альпинисту, когда он подсел к ним потолковать у огонька и понабраться от них ума-разума! От этих кариатид на него тотчас по-

---

[4] Примечания: 4
болван *(лат.)*

веяло холодом, а он этого так не любил! Он встал и зашагал по залу — не только для того, чтобы замять неловкость, но и для того, чтобы согреться, — затем открыл библиотечный шкаф. Там валялось несколько английских романов вперемежку с толстыми Библиями и разрозненными томами «Записок Швейцарского клуба альпинистов». Он достал одну книгу и хотел было взять ее с собой, почитать перед сном, но вынужден был водворить на место, так как уносить книги из читального зала в номера не разрешалось.

Он опять начал бродить и наконец приотворил двери биллиардной, — там гонял шары итальянский тенор, играя торсом и манжетами, чтобы привлечь внимание своей хорошенькой соседки по табльдоту, сидевшей на диване между двумя молодыми людьми и читавшей им какое-то письмо. При появлении альпиниста она прервала чтение, а один из молодых людей, тот, что был выше ростом, поднялся с места, — это был настоящий мужепес с волосатыми ручищами, с грязными черными патлами и нечесаной бородой. Он сделал два шага навстречу вошедшему и посмотрел на него вызывающим и до того свирепым взглядом, что добрый альпинист, не потребовав никаких объяснений, благоразумно

и с достоинством сделал пол-оборота направо.

— Неприветливый все-таки народ эти северяне!.. — сказал он громко и, чтобы показать дикарю, что он его не боится, хлопнул дверью.

Последним прибежищем оставался салон. Альпинист туда вошел — ах, пропади он пропадом, этот салон!.. Ну и мрачно же было там, если б вы только знали! Мрачно, как в Сен-Бернардском монастыре, где монахи выставляют напоказ замерзших, которых они выкопали из-под снега, — выставляют в самых разнообразных положениях, в каких те закоченели. Вот что такое салон в «Риги-Кульм».

Дамы, все до одной застывшие, молчаливые, сидели группами на диванах, расставленных вдоль стен, некоторые поодиночке раскинулись в креслах. Мисс, все до одной, сидели, точно скованные холодом, за круглыми столиками, у ламп, и держали в руках кто альбом, кто журнал, кто вышиванье. Среди них находились генеральские дочки — восемь маленьких перуанок, бросавшихся в глаза шафранным цветом лица, подвижностью черт и тем контрастом, какой составляли их яркие ленты с серо-зелеными тонами английских платьев, эти бедные «жаркостранки», которых так легко было себе

представить гримасничающими, прыгающими по верхушкам кокосовых пальм и которые еще в большей степени, чем другие жертвы, вызывали чувство жалости своей вынужденной немотой и закоченелостью. А в глубине салона, у фортепьяно, виднелся зловещий силуэт старого дипломата — его маленькие безжизненные руки в митенках лежали на клавиатуре, бросавшей на его лицо желтоватый отсвет…

Силы и память изменили бедному фон Штольцу, и он безнадежно запутался в польке собственного сочинения: он проигрывал несколько тактов, но, забыв коду, всякий раз начинал сызнова и в конце концов, играя, уснул, а за ним, потряхивая причудливо взбитыми локонами или чепцами, отделанными кружевом, похожим на корочку от слоеного пирога, — чепцами, которые так любят англичанки и которые в мире путешественников являются признаком хорошего тона, — стали погружаться в сон и все дамы.

Появление альпиниста не пробудило их, и он, проникшись всей этой леденящей душу атмосферой уныния, рухнул на диван, но тут вдруг в прихожей весело и громко заиграла музыка: три бродячих музыканта, из тех, что обходят все швейцарские отели, из тех, что носят длинные,

до колен, сюртуки и у которых такие жалобные лица, явились с арфой, флейтой и скрипкой в «Риги-Кульм».

При первых же звуках музыки альпинист так и подпрыгнул.

— Ух ты! Браво!.. Музыку сюда!

И скорей бежать, скорей все двери настежь, скорей угощать музыкантов, поить их шампанским, и сам он при этом хмелеет, но не от вина, а от музыки. Он подражает флейте, подражает арфе, прищелкивает у себя над головой пальцами, вращает глазами, приплясывает, к великому изумлению туристов, со всех концов сбежавшихся на шум. И вдруг наш альпинист, завидев в дверях жену профессора Шванталера, уроженку Вены, толстушку с такими задорными глазками, что, несмотря на сплошь седые волосы, она кажется гораздо моложе своих лет, загоревшись при звуках вальса Штрауса, который раззадоренные музыканты играют с чисто цыганским остервенением, подбегает к ней, обнимает за талию и увлекает, крича остальным: «Что же вы? Что же вы?.. Танцуйте!»

Толчок дан — и вот уже все оттаяли, все закружились и понеслись. Танцуют в прихожей, в салоне, вокруг длинного зеленого стола в читаль-

ном зале. А ведь это он их так расшевелил, вот молодчина! Сам он, однако, больше не танцует — прошелся несколько туров и запыхался. Но он распоряжается балом, подгоняет музыкантов, подбирает пары, бросает боннского профессора в объятия к какой-то старой англичанке, на чопорного Астье-Рею напускает самую резвую из перуанок. Сопротивляться бесполезно. От этого ужасного альпиниста исходят какие-то токи, от которых вы срываетесь с места, от которых у вас вдруг становится легко на душе. И — ух ты, ух ты! Презрения, ненависти как не бывало. Нет больше ни рисолюбов, ни черносливцев — вальсируют все. Безумие распространяется, охватывает все этажи, и в широком пролете лестницы видно, как на площадке седьмого этажа кружатся, будто заводные куклы, служанки-швейцарки в своих тяжелых пестрых юбках.

И пусть на дворе бушует ветер, раскачиваются фонари, гудит телеграфная проволока, пусть крутятся снежные вихри на пустынной вершине. Здесь уютно, тепло, и на всю ночь хватит и тепла и уюта.

«Пойду-ка я все-таки спать...» — говорит себе добрый альпинист, ибо он человек благоразумный, ибо он из того края, где быстро воспламеня-

ются, но еще быстрее гаснут. Посмеиваясь в свою седоватую бороду, он пробирается, он крадется так, чтобы ускользнуть от фрау Шванталер, которая после тура вальса всюду ищет его, вцепляется в него, все хочет «плясирен… танцирен…».

Он берет ключ, подсвечник и на площадке второго этажа останавливается на минутку, чтобы полюбоваться делом рук своих, взглянуть на этих сидней, которых он заставил веселиться, которых он растормошил.

Тяжело дыша после прерванного вальса, к нему подбегает швейцарка и протягивает ему вместе с пером книгу для приезжающих:

— Будьте любезны, сударь, распишитесь…

Он колеблется. Стоит или не стоит сохранять инкогнито?

А впрочем, какое это имеет значение? Если даже весть о его прибытии и разнесется по отелю, все равно никто не догадается, зачем он приехал в Швейцарию. А зато любопытно будет посмотреть завтра утром, как вытянутся физиономии у всех этих «инглишменов», когда они узнают… Девчонка наверняка проболтается… То-то все удивятся, то-то все будут ошеломлены!..

— Как? Это он?.. Он!..

Мысли эти мелькнули у него в голове, стреми-

тельные, скользящие, как удары смычка. Он взял перо и небрежною рукою под именами Астье-Рею, Шванталера и других знаменитостей поставил имя, которое должно было затмить все предыдущие, — то есть свое имя. Затем он поднялся к себе в номер, даже не полюбовавшись тем впечатлением, какое он произвел на служанку, — так он был уверен в эффекте.

Швейцарка заглянула и прочла: «*ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА*».

А под этим: «*П.К.А.*»

Уроженка Берна, прочтя это, совсем не была ошеломлена.

Она понятия не имела, что означают буквы: П.К.А. Она ничего не слыхала о «Дардарене».

Э-эх, дикарка!

II

Тараскон — поезд стоит пять минут! Клуб альпинцев. Что такое П.К.А. Кролики садковые и кролики капустные. «Вот мое завещание». Мертвецкий сироп. Первый подъем. Тартарен вынимает очки

Когда название «Тараскон» звучит, как фанфара, в поезде Париж — Лион — Средиземное море под чистым, струящимся провансальским небом, головы любопытных пассажиров выглядывают из всех окон экспресса, и от вагона к вагону идет перекличка:

— А вот и Тараскон!.. Посмотрим, каков Тараскон!

А между тем ничего особенного в нем как будто и нет: мирный, чистенький городок, башни, кровли, мост через Рону. Места эти славятся и привлекают к себе беглый взор пассажиров, во-первых, тарасконским солнцем, чудотворством миража, порождающего столько неожиданностей, столько вымыслов, столько забавных нелепостей, а во-вторых, этим маленьким жиз-

нерадостным народцем ростом с чечевичное зернышко, отражающим и воплощающим в себе инстинкты всего французского юга, народом живым, подвижным, болтливым, взбалмошным, потешным, впечатлительным.

Летописец Тараскона на достопамятных страницах своей истории (назвать ее точнее ему не позволяет скромность) некогда попытался нарисовать картину счастливых дней маленького городка, жители которого посещали Клуб, распевали романсы, причем у каждого из них был свой любимый романс, и за неимением дичи устраивали любопытную охоту за фуражками. Потом вспыхнула война, и для Тараскона тоже настало грозное время, время его героической обороны: эспланаду заминировали, к Клубу и к Театральному кафе немыслимо было пробраться, жители, все, как один, вступили в вольные дружины, нацепили нашивки в виде скрещенных костей и черепа, все, как один, отрастили бороды и сверху донизу увешались секирами, палашами и американскими револьверами, — бедняги боялись близко подойти друг к другу на улице.

Много лет прошло с тех пор, много календарей было брошено в печь, но Тараскон ничего не забыл: отказавшись от прежних пустых раз-

влечений, он думал теперь только о том, как бы развить в себе силу и ловкость для будущего реванша. Стрелковые и гимнастические общества, у каждого из которых была своя форма, свое снаряжение, свой оркестр и свое знамя, фехтование, бокс, бег, борьба, в которой принимали участие даже лица из высшего круга, вытеснили охоту за фуражками и платонические охотничьи беседы у оружейника Костекальда.

Наконец, Клуб, тот самый старый Клуб, отказавшись от буйотты и безика, превратился в Клуб альпинцев по образцу знаменитого лондонского Эльпайн-клоба, слава которого гремит даже в Индии. Различие между этими двумя клубами заключается в следующем: тарасконцы, вместо того чтобы, покинув родимый край, стремиться достигнуть чужеземных высот, довольствуются тем, что у них под рукой или, вернее, под ногой, за чертой города.

Альпы в Тарасконе?.. Альп, правда, нет, но зато есть Альпины: эта цепочка горок, благоухающих тмином и лавандой, не слишком крутых и не очень высоких (всего 150-200 метров над уровнем моря), голубыми волнами застилает горизонт перед глазами путников, странствующих по дорогам Прованса, и каждую такую горку фан-

тазия местных жителей постаралась украсить баснословным и в то же время выразительным названием: Страшная гора, Край света, Пик великанов и т.д.

Любо смотреть, как в воскресное утро тарасконцы, все до одного в гетрах, опираясь на альпенштоки, с мешками и палатками за плечами, с горнистами впереди, отправляются совершать подъем, о котором, не щадя красок и употребляя самые сильные выражения, вроде «наводящие ужас обрывы, пропасти, теснины», как будто речь идет о восхождении на Гималаи, даст потом отчет местная газета «Форум». Понятно, что благодаря подобным забавам местные жители значительно окрепли и у них появились двойные мускулы, которые прежде составляли преимущество одного лишь Тартарена, доброго, неустрашимого, героического Тартарена.

Если Тараскон — олицетворение юга, то Тартарен — олицетворение Тараскона. Он не только первый его гражданин, он его душа, его гений, он воплощение всех его сумасбродств. Всем известны его былые подвиги, его певческие триумфы (о незабываемый дуэт из «Роберта Дьявола» в аптеке у Безюке!) и потрясающая одиссея его охоты на львов в Алжире, откуда он вывез великолепного

верблюда, последнего алжирского верблюда, который впоследствии изнемог под бременем лет и почестей и чей остов доныне покоится в городском музее среди прочих тарасконских достопримечательностей.

Зато сам Тартарен отлично сохранился: все такие же у него прекрасные зубы, все такой же меткий глаз, несмотря на то что ему перевалило за сорок, и прежнее пылкое воображение, приближающее и увеличивающее предметы не хуже любого телескопа. О нем и сейчас бравый командир Бравида с полным основанием мог бы сказать: «Он у нас молодец…»

Молодец-то молодец, да только на свой особый образец. В Тартарене, как во всяком тарасконце, уживаются две ярко выраженные породы — кролика садкового и кролика капустного. Кролик садковый — непоседа, смельчак, сорвиголова, кролик капустный — домосед, любит лечиться и безумно боится переутомления, сквозняка и всевозможных случайностей, которые могут оказаться роковыми.

Общеизвестно, что благоразумие не мешало Тартарену в случае необходимости действовать храбро, даже героически. Позволительно, однако, задать себе вопрос: что же он собирался делать

на Риги (на Regina montium) в таком возрасте и после того, как он столь дорогою ценой приобрел право на отдых и благоденствие?

На этот вопрос мог бы ответить один лишь вероломный Костекальд.

Костекальд, по роду своих занятий оружейник, представляет собою тип, довольно редкий в Тарасконе. Зависть, низкая, черная зависть, залегающая в злобной складке его тонких губ и чем-то вроде клубов желтого пара исходящая из его печени, заканчивает его широкое, тщательно выбритое, с правильными чертами лицо сплошь в каких-то вмятинах, точно от ударов молотка, напоминающее изображения Тиберия или Каракаллы[5] на старинных медалях. Зависть — это у него своего рода болезнь, и он даже не пытается ее скрыть; со свойственным ему бурным тарасконским темпераментом он сплошь да рядом не выдерживает и так говорит о своем недуге:

— Вы себе не представляете, как это мучительно...

Виновником Костекальдовых мучений был, разумеется, Тартарен. Столько почестей одному человеку! Везде и всюду он! И Костекальд вот

---

[5] Примечания: 5

Тиберий (I в.), Каракалла (III в.) — римские императоры.

уже двадцать лет медленно, незаметно, подобно древоточцу, забравшемуся в золоченого идола, подтачивает изнутри его громкую славу, долбит ее, подрывает. Когда вечерами в Клубе Тартарен рассказывал о своей охоте на львов, о скитаниях по необозримой Сахаре, Костекальд беззвучно посмеивался и недоверчиво покачивал головой.

— Ну, а как же шкуры, Костекальд?.. Ведь он же прислал нам львиные шкуры, и они висят в клубной зале!..

— Ах, ах, ах!.. А вы думаете, в Алжире мало скорняков?

— А следы пуль, эти круглые дыры в головах?..

— Ну и что? Разве во времена охоты за фуражками неопытные стрелки не покупали у наших шапочников простреленные дробью дырявые фуражки?

Разумеется, эти подвохи бессильны были поколебать славу Тартарена — истребителя хищных зверей, но в качестве альпиниста он был далеко не так неуязвим, и Костекальд этим пользовался и метал громы и молнии по поводу того, что председателем Клуба альпинцев избран человек, с годами явно «отяжелевший», да к тому же привыкший в Алжире к мягким туфлям и просторной одежде, еще больше располагающей к лени!

В самом деле, Тартарен редко принимал участие в восхождении на горы; он предпочитал напутствовать альпинцев, а потом, на торжественных заседаниях, вращая глазами и с такими интонациями, от которых бледнели дамы, читать потрясающие отчеты об экспедиции.

Напротив, Костекальд, жилистый, поджарый, «Петушья Нога», как его называли, лез всегда впереди всех; он облазил Альпины и на неприступных вершинах водрузил клубное знамя с изображением Тараска на звездном поле. Тем не менее он был всего лишь вице-президентом, В.П.К.А. Но он развил такую бешеную деятельность, что на предстоящих выборах Тартарена провалили бы наверняка.

Испытанные друзья Тартарена — аптекарь Безюке, Экскурбаньес и бравый командир Бравида — предупредили его, и на душе у нашего героя стало ужасно мерзко; в нем поднялась волна негодования, которую у натур возвышенных всегда вызывают неблагодарность и несправедливость. Он уже готов был махнуть на все рукой и покинуть родину, то есть перейти мост

и поселиться в Бокере, у вольсков[6], но, впрочем, быстро успокоился.

Бросить свой домик, сад, изменить столь милым его сердцу привычкам, отказаться от президентского кресла в Клубе альпинцев, который он же и учредил, от пышных инициалов П.К.А., которые составляли украшение и отличительный знак его визитных карточек, бумаги для писем и даже подкладки его шляпы? Нет, это невозможно, ни, ни, ни! И тут его осенила счастливая мысль.

В сущности говоря, подвиги Костекальда представляли собою прогулки по Альпинам, не больше. Почему бы Тартарену в течение трех месяцев, которые еще оставались до перевыборов, не затеять какое-нибудь грандиозное предприятие? *Напрррмэр,* водрузить клубный стяг на вершине одной из самых высоких гор в Европе — на Юнгфрау или на Монблане?

Какой триумф по возвращении, какая пощечина Костекальду, когда «Форум» поместит отчет об этом восхождении! Пусть-ка он тогда попробует оспаривать у Тартарена президентское кресло!

Тартарен тотчас же принялся за дело: тай-

---

[6] Примечания: 6

Намек на предание о римском полководце Гае Марции Кориолане: недовольный новыми порядками в Риме, он перешел на сторону враждебного Риму племени вольсков.

но от всех выписал себе уйму специальных трудов — «Восхождения на горы» Вимпера, «Ледники» Тиндаля, «Монблан» Стефана д'Арва[7], записки Английского и Швейцарского клубов альпинистов — и забил себе голову множеством альпинистских терминов, смысл которых оставался ему, однако, не совсем ясен, — всеми этими «каминами, кулуарами, фирнами, сераками, моренами и трещинами».

По ночам ему снились страшные сны: то будто он скользил без конца по льду, то стремглав летел в бездонную расселину, на него рушились обвалы, острые льдины пронзали ему грудь. И долго потом, уже проснувшись и напившись шоколаду, — по своему обыкновению, в постели, — он находился под тяжелым, гнетущим впечатлением от дурного сна. И тем не менее, встав с постели, он все утро усердно тренировался.

Через весь Тараскон тянется бульвар, который у местных жителей получил название Городского

---

[7] Примечания: 7

Вимпер Эдвард (1840-1911) — английский альпинист, исследователь Гренландии и Анд. Тиндаль Джон (1820-1893) — английский физик, изучавший альпийские ледники, книгу о которых он выпустил в 1860 году; несколько лет прожил в хижине на одном из ледников в Швейцарии. Стефан д'Арв — псевдоним французского географа и этнографа Камиля де Катлена, автора ряда книг о Южной Франции, Италии и Швейцарии, и том числе «Отчета о научном восхождении на Монблан в августе 1861 г.».

круга. Каждое воскресенье, после обеда, тарасконцы, люди косные, несмотря на всю живость их воображения, обходят этот круг, и непременно в одном направлении. Тартарен приучил себя обходить его восемь, а то и десять раз в течение утра, причем нередко и в обратном направлении. Он шел, заложив руки за спину, решительным, медленным, уверенным, настоящим «горным» шагом, и при виде его лавочники, напуганные столь явным нарушением местных обычаев, терялись в догадках.

У себя, в своем экзотическом садике, он учился прыгать через расселины, то есть перескакивал через бассейн, в котором среди водорослей плавали карпы; дважды при этом он падал в воду и вынужден был переодеваться. Но эти неудачи еще пуще его раззадоривали: будучи подвержен головокружениям, он, к великому ужасу старой служанки, которая никак не могла взять в толк, к чему все эти фокусы, ходил по узкой закраине колодца.

Одновременно он заказал хорошему авиньонскому слесарю «кошки» системы Вимпера и ледоруб системы Кеннеди; запасся он также спиртовкой, двумя непромокаемыми плащами и двумястами футов веревки собственного изобре-

тения, сплетенной из проволоки.

Прибытие этих предметов, а также таинственные разъезды, которых потребовало их изготовление, возбудили у тарасконцев живейшее любопытство. В городе говорили: «Президент что-то затевает». Но что именно? Разумеется, нечто сногсшибательное, ибо, пользуясь прекрасным выражением бравого и склонного к нравоучениям командира Бравида, каптенармуса в отставке, изъяснявшегося исключительно поговорками, «орел на мух не охотится».

Даже самым близким друзьям Тартарен не поверил своей тайны. Только на заседаниях Клуба все замечали, как дрожал у него голос и какие ослепительные молнии загорались у него во взоре, когда он обращался к Костекальду, косвенному виновнику новой экспедиции, трудность и опасность которой по мере ее приближения становились ему все яснее. Злосчастный Тартарен не закрывал на это глаза — напротив, экспедиция рисовалась ему в необыкновенно мрачном свете, настолько, что он даже счел необходимым привести в порядок свои дела и составить духовное завещание, а между тем для таких жизнелюбов, как тарасконцы, изъявление последней воли — это нож острый, и большинство из них умирает,

так и не составив завещания.

И вот представьте себе ясное июньское утро, безоблачный, роскошный небосвод, растворенную дверь кабинета, ведущую в маленький садик с заботливо посыпанными песком дорожками, садик, где четко вырезываются на земле недвижные лиловые тени экзотических растений и где чистый звук звонкой струйки воды выделяется среди радостных криков маленьких савояров, играющих у калитки в классы, и, наконец, самого Тартарена в мягких туфлях, в просторной фланелевой одежде, довольного, счастливого, с трубкой в зубах, пишущего и вслух перечитывающего только что написанное:

«*ВОТ МОЕ ЗАВЕЩАНИЕ*

Конечно, можно приказать своему сердцу молчать, можно взять себя в руки, а все же, что ни говорите, это мучительные мгновения. Однако ни рука, ни голос у Тартарена ни разу не дрогнули, пока он распределял между своими согражданами те сокровища из разных стран, которые он собрал, за которыми он так ухаживал и которые хранились у него в домике в таком образцовом порядке:

Клубу альпинцев — баобаб (arbos gigantea), пусть он стоит на камине в зале заседаний;

Бравида — карабины, револьверы, охотничьи ножи, малайские криссы, томагавки и прочие виды оружия;

Экскурбаньесу — все чубуки, индейские трубки, наргиле, трубочки для курения гашиша и опиума;

Костекальду — да, да, Тартарен не забыл и Костекальда! — *знаменитые отравленные стрелы („Не прикасайтесь!“)*».

Быть может, этот последний пункт был составлен не без тайной надежды, что предатель наколется на стрелу и умрет; во всяком случае, из самого текста завещания это отнюдь не явствовало, и заканчивалось оно словами, дышавшими поистине божественной кротостью:

«*Прошу моих дорогих альпинцев не забывать своего президента. Пусть они простят моему врагу, как прощаю ему я, несмотря на то что он главный виновник моей смерти...*»

Тут Тартарен невольно остановился — слезы так и хлынули у него из глаз. Его мысленный взор нарисовал такую картину: вот он, разбившись, лежит у подножья высокой горы, вот его кладут на повозку, а затем отсылают в Тараскон его изуродованные останки. О, сила провансаль-

ского воображения! Он уже присутствовал на собственных похоронах, слышал заупокойное пение, слышал речи над своей могилой: «*Бэдный Тартарррен, вечная ему памят*ь!..» И, затерянный в толпе друзей, он сам себя горько оплакивал.

Однако вид кабинета, сплошь залитого солнцем, лучи которого играли на рядах оружия и трубок, и песенка фонтана, доносившаяся из сада, вернули его к действительности. Зачем же все-таки умирать? Зачем даже уезжать? Кто его гонит? Что за идиотское честолюбие! Рисковать жизнью ради президентского кресла и инициалов!..

Но это была опять-таки слабость, столь же мимолетная, как и предшествовавшая ей. В пять минут завещание было закончено, скреплено подписью и огромной черной печатью, после чего великий человек занялся последними приготовлениями к отъезду.

Тартарен садковый снова восторжествовал над Тартареном капустным. О тарасконском герое можно было сказать то же, что было сказано о Тюренне: «Его плоть не всегда была готова идти на битву, но дух его вел помимо него».

В тот же вечер, когда часы на ратуше пробили десять, когда улицы опустели и словно расширились и лишь кое-где запоздало стучал дверной

молоток да перекликались впотьмах сдавленные, охрипшие от страха голоса: *«Ннэ,* спокойной ночи!..» — а затем хлопали двери, кто-то крался по темному городу, где фасады домов были освещены лишь фонарями, а розовые и зеленые шары освещали фасад стоявшей на Малой площади аптеки, в окне которой четко очерчивался силуэт Безюке, дремавшего за конторкой над фармакопеей. Этот скромный аванс Безюке брал у себя ежевечерне, от девяти до десяти, с тем чтобы, как он выражался, быть пободрее, если ночью потребуются его услуги. Между нами говоря, это была чистейшая тарасконада, потому что никто никогда его не будил и, чтобы спать спокойно, он сам же отвязывал на ночь проволоку у звонка.

Внезапно в аптеку вошел Тартарен, таща на спине плащи, с дорожным мешком в руках, до того бледный и расстроенный, что аптекарь перепугался не на шутку, ибо его пламенному тарасконскому воображению тотчас представилось нечто ужасное.

— Несчастный!.. Что с вами?.. Вас отравили?.. Скорей, скорей рвотного!

И, опрокидывая склянки, он заметался по комнате. Чтобы удержать Безюке, Тартарену пришлось схватить его в охапку.

— Да выслушайте вы меня, *чэрррт побери*!

В голосе его слышалась сдержанная досада актера, которому сорвали эффектный выход. Все еще держа железною рукою аптекаря, замершего за прилавком, Тартарен спросил его шепотом:

— Мы одни, Безюке?

— Ну да!.. — сказал тот, с безотчетным страхом оглядываясь по сторонам. — Паскалон спит (Паскалон был его ученик), маменька тоже, а что?

— Закройте ставни, — не ответив на вопрос, скомандовал Тартарен. — Нас могут увидеть с улицы.

Безюке, дрожа всем телом, повиновался. Старый холостяк, он всю жизнь прожил с матерью и был тих и застенчив, как девушка, что составляло резкий контраст с его загрубелой кожей, толстыми губами, большим крючковатым носом и длинными усами — одним словом, с наружностью пирата из еще не покоренного Алжира. Подобные противоречия в Тарасконе нередки, ибо головы тарасконцев просятся на полотно — до того они выразительны, до того ярко в них запечатлелись характерные особенности римлян и сарацин, обладатели же их занимаются безобидными ремеслами и проживают в тишайшем захолустном городке.

Так, например, Экскурбаньес, похожий на конкистадора, сподвижника Писарро[8], содержит галантерейную лавочку и вращает горящими глазами, продавая на два су ниток, а Безюке, наклеивающий ярлычки на коробочки с лакрицей и на пузырьки с *sirupus gummi*[9], напоминает старого пирата — грозу берберийских берегов.

Как только ставни с помощью болтов и задвижек были плотно затворены, Тартарен, любивший называть собеседников просто по именам, начал так:

— Послушайте, Фердинанд…

И он тут же все и выложил, излил все, что накипело у него в сердце, всю свою досаду на неблагодарных сограждан, рассказал о происках Петушьей Ноги, о том, что соперник собирается провалить его на выборах, и о том, как он, Тартарен, намерен парировать удар.

Прежде всего надо держать его замысел в тайне и открыть только тогда, когда это будет необходимо, когда от этого будет зависеть успех его затеи, которому, впрочем, всегда может помешать ка-

---

[8] Примечания: 8

Писарро Франсиско (1475-1541) — один из главарей конкистадоров (завоевателей Америки), покоривший державу инков в Перу.

[9] Примечания: 9

камедным сиропом *(лат.)*

кая-нибудь случайность, какая-нибудь страшная катастрофа…

— А, черт вас возьми, Безюке, да не свистите же вы, когда с вами разговаривают!

Это у Безюке вошло в привычку. Он был несловоохотлив от природы, что вообще не часто встречается в Тарасконе и благодаря чему аптекарь и заслужил доверие президента, но своим толстым губам он постоянно придавал форму буквы «О», и из его раскрытого рта дыхание вырывалось с каким-то присвистом, точно он всем на свете смеялся в лицо, даже во время самых серьезных разговоров.

Вот и теперь: наш герой намекал на возможность своей близкой кончины и, кладя на прилавок большой запечатанный пакет, говорил: «Вот тут мое завещание, Безюке, — своим душеприказчиком я назначаю вас», а Безюке, который никак не мог отстать от своей дурной привычки, все только насвистывал: «Фью! Фью! Фью!»; однако в глубине души он был очень взволнован и сознавал всю важность своей роли.

Между тем час расставания был уже недалек, и аптекарь предложил выпить за успех предприятия «чего-нибудь вкусненького. *Чтэ?..* По стаканчику эликсира Гарюс!». Раскрыв и обша-

рив несколько шкафчиков, он наконец вспомнил, что ключи от Гарюса у маменьки. Если разбудить ее, то придется объяснять, в чем дело. Решено было заменить эликсир «Мецким сиропом», прохладительным напитком, скромным и вполне невинным, который изобрел сам Безюке и о котором он помещал в «Форуме» такого рода объявления: «*Мецкий сироп, десять су с посудой, полезно и приятно*». «Мертвецкий сироп, десять су с посудой, черви бесплатно», — переиначивал злобный Костекальд, не выносивший чужого успеха. Однако своим ужасным каламбуром Костекальд достиг лишь увеличения спроса на мертвецкий сироп, и тарасконцы от него в полном восторге.

Приятели совершили возлияние, обменялись еще несколькими словами, обнялись, и Безюке засвистел себе в усы, по которым катились крупные слезы.

— *Ннэ*, прощайте!.. — чувствуя, что и сам сейчас заплачет, буркнул Тартарен, а так как железная штора над дверью была спущена, то герой наш принужден был выбираться из аптеки на четвереньках.

Это было начало его дорожных испытаний.

Три дня спустя он сошел с поезда в Фицнау, у

подножья Риги. Для разгона, для тренировки он избрал Риги отчасти по причине ее небольшой высоты (1800 метров, раз в десять выше Страшной горы — самой высокой из Альпинских гор!), отчасти потому, что с нее открывается дивная панорама Бернских Альп, белых и розовых, теснящихся вокруг озер и словно ждущих, когда альпинист остановит на какой-нибудь из высот свой выбор и двинется на приступ.

Тартарен был уверен, что дорогой его узнают и, может быть, даже станут за ним следить, ибо по наивности своей воображал, что он так же знаменит и широко известен во всей Франции, как и в Тарасконе, а потому, прежде чем попасть в Швейцарию, нарочно дал крюку и только уже на самой границе облекся в доспехи. И хорошо сделал: во французских вагонах все его снаряжение ни за что бы не поместилось.

Но, несмотря на то что швейцарские купе на редкость удобны, наш альпинист, с непривычки путавшийся во всех своих приспособлениях, наступал пассажирам на ноги альпенштоком, зацеплял их на ходу крючьями, и куда бы он ни входил — в вокзал, в отель или же на пакетбот, — всюду на него вместе с возгласами удивления обрушивались толчки и проклятья, и все прово-

жали его злобными взглядами, причину которых он не мог себе уяснить и от которых страдала его любвеобильная и общительная натура. А тут еще серое, затянутое тучами небо и проливной дождь.

В Базеле дождь поливал маленькие беленькие домики, уже и так чисто-начисто вымытые руками служанок и дождевою водой. В Люцерне дождь поливал сваленные на пристани тюки и чемоданы, имевшие такой вид, будто их только что вытащили из воды после кораблекрушения. Когда же Тартарен сошел с поезда в Фицнау, на берегу Озера четырех кантонов, то здесь ливень низвергался на зеленеющие склоны Риги, по которым ползли черные тучи, потоками прядал со скал, обдавал водяною пылью, стекал со всех камней, со всех еловых иголок. Никогда еще тарасконцу не приходилось видеть столько воды.

Он зашел в трактир и спросил себе кофе со сливками, с медом и с маслом, а надо заметить, что это действительно очень вкусно, и Тартарен наслаждался этим еще в пути. Подкрепившись и вытерев уголком салфетки липкую от меда бороду, он решил немедленно начать свой первый подъем.

— *Э, чтэ,* — заговорил он, взваливая на спину

мешок, — за сколько времени можно подняться на Риги?

— За час, за час с четвертью, сударь. Но торопитесь, — до отхода поезда только пять минут.

— Поезд на Риги?.. Да вы что, шутите?

В мутное трактирное окно ему показали отходивший поезд. Два больших крытых вагона без вентиляции приводились в движение локомотивом с короткой пузатой трубой, похожей на котел, — этаким чудовищным насекомым, впившимся в гору и, пыхтя, карабкающимся по ее отвесным склонам.

Мысль о том, чтобы подняться на гору в этой отвратительной машине, привела в негодование обоих Тартаренов — и садкового и капустного. Первому показался нелепым этот механический способ подъема на Альпы. Что же касается второго, то висящие в воздухе мосты, через которые лежал железнодорожный путь, и перспектива падения с тысячеметровой высоты, стоит только поезду чуть-чуть сойти с рельсов, наводили его на весьма печальные размышления, и основательность их подтверждалась видом маленького кладбища в Фицнау, у самой горы, — этих белых могильных холмов, что лепились один к другому, точно белье, развешанное во дворе прачечной.

Очевидно, кладбище устроено здесь не зря — чтобы в случае чего путешественники могли воспользоваться его гостеприимством.

«Пойду-ка я пешком, — сказал себе отважный тарасконец. — Это будет для меня упражнением. А ну!..»

И, внимательно следя за движениями своего альпенштока, чтобы не осрамиться перед трактирной прислугой, теснившейся на пороге, и не слушая ее наставлений, тронулся в путь. Сперва он шел в гору по дороге, которая была вымощена крупным неровным булыжником, так же суживавшимся кверху, как суживается к концу переулок в южном городке, и по обочинам которой тянулись еловые желоба для стока воды.

Справа и слева — бесконечные фруктовые сады, влажные и тучные луга, прорезанные такими же, как вдоль дороги, водостоками — выдолбленными деревянными колодами. От этого на всей горе, сверху донизу, воздух полнился немолчным плеском, а когда альпинист задевал на ходу своим ледорубом ветви дуба или орешника, всякий раз поднимался такой шум, словно Тартарена сверху поливали из лейки.

— Свят, свят, свят, сколько воды! — вздыхал южанин.

Но дело приняло совсем уже скверный оборот, когда мостовая неожиданно кончилась и Тартарену пришлось шлепать по воде и перепрыгивать с камня на камень, чтобы не промочить гетры. В довершение всего хлынул дождь, он лил не переставая, от него не спасала никакая одежда, и с каждым шагом у Тартарена усиливалось ощущение холода. Когда он останавливался передохнуть, ему чудилось, будто он затонул в широко раскинувшемся шуме воды, поглотившем все остальные звуки; оглядываясь назад, он смотрел, как облака длинными и тонкими стеклянными палочками протягиваются к озеру и как блестят в просветах домики Фицнау, похожие на только что покрытые лаком игрушки.

Навстречу Тартарену попадались мужчины, дети — все они шли, пригнув головы, сгорбившись под тяжестью плетушек с провизией для какой-нибудь виллы или пансиона, балконы которых вырисовывались на склоне горы.

— «Риги-Кульм»? — чтобы удостовериться, та ли это дорога, спрашивал Тартарен.

Но его странное одеяние, в особенности вязаный шлем, закрывавший ему лицо, наводило страх на прохожих, и они, вытаращив глаза, молча прибавляли шагу.

Однако и эти встречи становились все реже. Последним живым существом на его пути была старуха — под огромным красным зонтом, воткнутым в землю, она полоскала белье в водостоке.

— «Риги-Кульм»? — спросил ее альпинист.

Старуха подняла на него бессмысленные испуганные глаза, выставив подпиравший ей голову зоб величиною с колокольчик вроде тех, какие подвешивают швейцарским коровам. Пристально посмотрев на Тартарена, она разразилась неудержимым хохотом, и от этого хохота рот у нее растянулся до ушей, а щелки глаз совсем закрыло морщинами; когда же она вновь раскрывала глаза, то вид Тартарена, стоявшего перед нею как вкопанный, с ледорубом на плече, всякий раз приводил ее в еще более веселое расположение духа.

— Громы небесные! Если б это не женщина… — пылая гневом, проворчал тарасконец. Он пошел дальше — и заблудился в ельнике, где ноги так и разъезжались на мокром мху.

Выше пейзаж изменился. Ни троп, ни деревьев, ни пастбищ. Мрачные голые скаты, крутые обрывы, по которым приходилось взбираться на четвереньках, наполненные желтой грязью рвы,

которые Тартарен переходил медленно, нащупывая дно альпенштоком и, как точильщик, высоко поднимая ноги. Ежеминутно поглядывал он на маленький компас, висевший у него, точно брелок, на длинной цепочке для часов, но то ли под влиянием высоты, то ли под влиянием резких колебаний температуры стрелка компаса словно ополоумела. Ориентироваться самому не представлялось возможным: в десяти шагах ничего не было видно из-за густого желтого тумана, а затем пошел мелкий дождь со снегом, началась гололедица, и подъем делался все труднее и труднее.

Вдруг Тартарен остановился — впереди что-то смутно белело… Береги глаза!..

Он вступил в полосу вечных снегов…

Тотчас же достал он из футляра очки и прочно насадил их на переносицу. Минута была торжественная. Слегка взволнованный и вместе с тем гордый, Тартарен вообразил, что он одним рывком приблизился на тысячу метров к вершинам и к великим опасностям.

Дальше Тартарен продвигался с особенной осторожностью, все время думая о расселинах и трещинах, о которых столько написано в книгах, и в глубине души проклиная обитателей трактира, посоветовавших ему идти прямо и

без проводника. А вдруг он взбирается не на ту гору? Ведь он идет уже больше шести часов, а подняться на Риги можно и за три часа. Дул ветер, холодный ветер, и во мгле сумерек кружил снег.

Ночь застигла его на дороге. Где бы найти хоть какую-нибудь лачугу, хотя бы выступ скалы, чтобы укрыться от непогоды? Вдруг он увидел прямо перед собой, на пустынном и голом плоскогорье, нечто вроде деревянной дачи с вывеской, на которой, несмотря на изрядные размеры букв, он с трудом разобрал: «Фо-тогра-фия Ри-ги-Кульм». В ту же минуту чуть поодаль показался громадный трехсотоконный отель, празднично светившийся в вечернем мраке огнями своих фонарей.

III

Тревога на вершине Риги. Спокойствие! Спокойствие! Альпийский рог. Что Тартарен, проснувшись, обнаружил на зеркале. Замешательство. Проводника вызывают по телефону

— Кто идет?.. Кто там?.. — весь превратившись в слух и напряженно вглядываясь в темноту, восклицал Тартарен.

Во всем отеле слышалась беготня, хлопанье дверей, пыхтенье, крики: «Скорей, скорей!..» А снаружи доносились призывные звуки трубы, резкие вспышки пламени освещали оконные стекла и занавески…

Пожар!..

Тартарен вскочил с постели, оделся, обулся и бегом пустился вниз по лестнице, — там еще горел газ и по ступенькам спускался шумливый рой мисс в наскоро надетых шапочках, в зеленых шалях, в красных шерстяных платках — словом, во всем, что попалось им под руку, когда они вставали.

Чтобы подбодрить себя и успокоить барышень,

Тартарен, торопясь и всех расталкивая, вопил: «Спокойствие! Спокойствие!» — голосом пронзительным, как у морской чайки, сдавленным, отчаянным, каким иногда кричат во сне, голосом, от которого даже у храбрых людей душа в пятки уходит. А эти юные мисс смеялись, глядя на него: наверно, он казался им очень смешным. Ну, да что с них взять, в этом возрасте разве думают об опасности?

К счастью для Тартарена, следом за девицами шел престарелый дипломат, весьма легкомысленно одетый: из-под пальто у него выглядывали белые кальсоны и кончики тесемок.

Наконец-то мужчина!..

Размахивая руками, Тартарен подбежал к нему.

— Ах, барон, какое несчастье!.. Вы что-нибудь знаете?.. Где это?.. С чего началось?

— А? Что?.. — ничего не понимая, лепетал оторопевший барон.

— Да ведь пожар!..

— Какой пожар?..

У бедного дипломата был до того подавленный и до того глупый вид, что Тартарен оставил его в покое и опрометью кинулся к выходу «подавать помощь»…

— Помощь! Помощь! — повторял барон, а за ним пятеро слуг, которые до этого стоя спали в прихожей и теперь в полном недоумении переглядывались.

Как только Тартарен вышел на крыльцо, он сразу понял, что ошибся. Никакого пожара. Собачий холод, кромешная тьма, сквозь которую пробивается лишь слабый свет смоляных факелов, — их пламя колеблется, на снегу от них длинные кроваво-красные полосы.

На нижней ступеньке крыльца игрок на альпийском роге выревывал жалобную, однообразную, состоявшую всего из трех нот пастушескую мелодию, которой в «Риги-Кульм» имеют обыкновение будить поклонников солнца и возвещать им, что дневное светило скоро взойдет.

Уверяют, будто первый его отблеск загорается на самой вершине горы, за отелем. Чтобы не сбиться, Тартарену нужно было только держаться того направления, откуда доносился неумолкаемый смех мисс. Но он шел медленно, — его одолевала дремота, ноги после шестичасового подъема слушались плохо.

— Это вы, Манилов?.. — внезапно послышался в темноте звонкий женский голос. — Помогите мне… Я потеряла туфлю.

Тартарен узнал чужеземный щебет своей юной соседки по табльдоту, разглядел ее стройный силуэт на тускло отсвечивавшем снегу.

— Я не Манилов, сударыня, но я рад быть вам полезным…

Слегка вскрикнув от испуга и от неожиданности, девушка отшатнулась, но Тартарен этого не заметил, — он уже наклонился и шарил по скошенной, хрустевшей от мороза траве.

— Э, да вот она!.. — торжествующе воскликнул он.

Отряхнув миниатюрную туфельку от снега, он опустился на одно колено и галантнейшим тоном попросил в награду сделать ему такую милость — позволить обуть Золушку.

Золушка, более суровая, чем в сказке, ответила в высшей степени сухо: «Нет!» — и запрыгала на одной ножке, стараясь попасть другой ногой, которую обтягивал шелковый чулок, в коричневую туфельку. Но это ей так бы и не удалось без помощи нашего героя, который, почувствовав на своем плече прикосновение крошечной ручки, весь так и загорелся.

— У вас хорошее зрение, — сказала она в знак благодарности, ощупью пробираясь рядом с ним дальше.

— Привычка выслеживать зверя, сударыня.

— А вы разве охотник?

Она произнесла это с оттенком насмешки и недоверия. Чтобы убедить ее, Тартарену надо было только назвать свое имя, но, как все носители славных имен, он отличался скромностью и в то же время любил пококетничать. Желая немножко поинтриговать ее, он сказал:

— *Ну дэ, я эхэтник*...

— А на какого же зверя вы чаще всего охотитесь? — продолжая над ним потешаться, допытывалась она.

— На диких зверей, на крупных хищников... — думая поразить ее, ответил Тартарен.

— И много вы их нашли на Риги?

Галантный тарасконец за словом в карман не лез: он уже собирался ответить ей комплиментом, что на Риги он видел только газелей, как вдруг его прервали на полуслове две приближавшиеся тени.

— Соня!.. Соня!.. — звали они.

— Мне надо идти... — сказала она и, повернувшись к Тартарену, глаза которого, привыкшие к темноте, различили черты ее красивого бледного лица в обрамлении мадридской мантильи, добавила уже серьезно: — Опасную охоту вы

затеяли, милейший… Как бы вам не сложить здесь кости…

И она тотчас же исчезла во мраке вместе со своими спутниками.

Угрожающая интонация, с какой это было сказано, дошла до сознания тарасконца позднее, а сейчас он был озадачен обращением «милейший», которое не подобало ни его сединам, ни его полноте, и внезапным уходом девушки как раз в тот момент, когда он собирался назвать себя и полюбоваться произведенным впечатлением.

Он сделал несколько шагов в сторону удалявшейся группы и услышал невнятный говор, покашливанье и чиханье сбившихся в кучу и с нетерпением ожидавших восхода солнца туристов, наиболее смелые из которых взобрались на небольшую вышку, выделявшуюся на исходе ночи белизною оснеженных столбов.

На востоке протянулась полоска света, и его приветствовали новый призыв охотничьего рога и облегченный вздох туристов, похожий на тот, который вызывает у театральной публики третий звонок. Сначала едва заметная, как щель от неплотно прикрытой крышки, полоска света мало-помалу распространялась и расширяла горизонт. Но снизу поднимался густой желтый

туман, и чем ярче разгоралась заря, тем он становился въедливее и плотнее. Это был как бы занавес, отделяющий сцену от зрителей.

Потрясающее зрелище, обещанное путеводителями, не состоялось. Взамен предлагались вниманию причудливые фигуры невыспавшихся вчерашних танцоров, — накрывшись шалями, одеялами, всем чем угодно, вплоть до пологов, они вырисовывались нелепыми и забавными китайскими тенями. Из-под разнообразных головных уборов: шелковых и пуховых шапочек, капоров, шляпок, фуражек с наушниками выглядывали опухшие со сна лица, выражавшие полную растерянность, — такие лица бывают у потерпевших кораблекрушение, выброшенных на необитаемый остров и настороженно вглядывающихся в даль, не мелькнет ли где парус.

Не видать, нет, не видать!

Впрочем, некоторые добросовестно старались различить гребни гор. С вышки доносилось кудахтанье перуанского семейства, окружившего какого-то верзилу в клетчатом ульстере[10] до пят, а верзила, не моргнув глазом, описывал невидимую панораму Бернских Альп, указывая и

---

[10] Примечания: 10

Ульстер — длинное пальто свободного покроя.

называя вслух повитые туманом горы:

— Налево вы видите Финстерааргорн, высота — четыре тысячи двести семьдесят пять метров… Вон там Шрекгорн, Веттергорн, Монах, Юнгфрау[11] — обратите внимание, сударыни, какие у нее изящные очертания…

«Бывают же такие нахалы!.. — сказал себе Тартарен и, подумав немного, добавил: — А ведь голос-то у него все-таки знакомый!»

Особенно было ему знакомо произношение этого человека, то южное *прррэизншэние*, которое, как запах чеснока, распознается на расстоянии. Однако, занятый мыслью разыскать юную незнакомку, он не стал задерживаться и продолжал тщетно вглядываться в группы туристов. Должно быть, она, по примеру прочих, вернулась в отель, — всем в конце концов надоело дрогнуть тут и для согревания притоптывать ногами.

Сгорбленные спины, прикрытые шотландскими пледами, бахрома от которых волочилась по снегу, постепенно удалялись, исчезали в сгущавшемся тумане. Скоро на всем холодном, пустынном плоскогорье, которое облегал серый саван, не осталось никого, кроме Тартарена и иг-

---

[11] Примечания: 11
Юнгфрау означает по-немецки «Дева».

рока на альпийском роге, продолжавшего уныло дуть в свой огромный инструмент, точно пес, лающий на луну.

Этот бородатый старикашка носил тирольскую шляпу с зелеными кистями, свисавшими ему на спину, — на шляпе, как на фуражках у служащих отеля, золотыми буквами было написано: Regina montium. Тартарен подошел и сунул ему мелочь, — он видел, что так делали другие туристы.

— Пойдем-ка спать, старина, — сказал он и, с тарасконской развязностью похлопав его по плечу, добавил: — А уж и врут про солнечный восход на Риги! *Чтэ*?

Старик продолжал дуть в рог, выводя состоявшую из трех нот ритурнель и смеясь беззвучным смехом, от которого у него стягивались морщины у глаз и тряслись зеленые кисти.

Тартарен все же не жалел ни о чем. Встреча с хорошенькой блондинкой вознаградила его за прерванный сон, ибо, хотя ему и шел пятый десяток, он, однако, сохранил сердечный жар и романтическое воображение — этот пылающий очаг жизни. Когда он, поднявшись к себе в номер, лег и закрыл глаза, ему все еще казалось, будто в руке у него крошечная невесомая туфелька, а в

ушах звучал прерывистый голосок девушки: «Это вы, Манилов?»

Соня… Какое красивое имя!.. Конечно, она — русская, а молодые люди, путешествующие вместе с ней, — разумеется, друзья ее брата… Потом все смешалось, прелестная златокудрая головка слилась с другими расплывчатыми сонными грезами — со склонами Риги, с водопадами в сутанах брызг и пены. И вскоре героический храп великого человека, звучный и ритмичный, наполнил его номерок и добрую часть коридора.

После первого звонка к завтраку Тартарен, прежде чем сойти вниз, пожелал удостовериться, тщательно ли расчесана у него борода и ладно ли сидит на нем альпинистский костюм, но тут его бросило в дрожь. Приклеенное двумя облатками к зеркалу незапечатанное анонимное письмо заключало в себе недвусмысленную угрозу:

> «Чертов француз! Тебе не укрыться под маской. На сей раз мы тебя пощадили, но если ты еще когда-нибудь попадешься нам на узкой дорожке, то берегись!»

Тартарен был огорошен; он несколько раз перечел письмо, но так ничего и не понял. Кого беречься? Чего беречься? Как это письмо сюда

попало? Конечно, когда он спал, — ведь по возвращении с заревой прогулки он его не заметил. На его звонок явилась горничная с широким, плоским, бледным, изрытым оспой лицом, похожим на швейцарский сыр, но он ничего не мог от нее добиться, кроме того, что она «шестный девушка» и никогда не позволит себе без зова войти к мужчине.

— Что за притча! — повторял крайне взволнованный Тартарен, так и этак вертя в руках письмо.

В первую минуту он заподозрил Костекальда: узнав о его намерении совершить восхождение и решив сорвать ему этот замысел, Костекальд строит каверзы, запугивает его. Однако по зрелом размышлении это показалось ему неправдоподобным, и в конце концов он остановился на том, что письмо написано в шутку… Может быть, это юные мисс, которые так весело хохочут прямо ему в лицо… Молоденькие англичанки и американки так бесцеремонны!

Прозвонил второй звонок. Тартарен спрятал анонимное письмо в карман: «Там разберемся!..» Свирепое выражение, которое он придал в эту минуту своему лицу, должно было свидетельствовать о его бесстрашии.

За столом — опять неожиданность. Вместо хорошенькой соседки, которую «чистым золотом осыпала Любовь», он увидел ястребиную шею старой англичанки, букли которой сметали крошки со скатерти. Кто-то из сидевших поблизости сообщил, что девушка и ее спутники уехали с утренним поездом.

— Дьявольщина! Меня провели!.. — громко воскликнул итальянский тенор, тот самый, который накануне заявил Тартарену, что не понимает по-французски. Очевидно, за ночь он выучился! Тенор вскочил, швырнул салфетку и убежал, совершенно ошеломив тарасконца.

Из вчерашних гостей за табльдотом оставался теперь один Тартарен. Так всегда бывает в «Риги-Кульм»: тут редко кто задерживается долее суток. Зато обстановка не меняется — шеренги соусников неизменно делят общество на два враждебных лагеря. Сегодня утром численное превосходство было явно на стороне рисолюбивого воинства, усиленного несколькими знатными особами, и черносливцы держались, как говорится, тише воды, ниже травы.

Тартарен не примкнул ни к тем, ни к другим, и, чтобы избежать широковещательных заявлений, он еще до десерта поднялся к себе в номер,

собрал вещи и спросил счет — Regina montium с ее табльдотом глухонемых ему опостылела.

Стоило Тартарену прикоснуться к ледорубу, крючьям и веревкам, стоило ему облачиться во все свои доспехи, и его вновь охватила альпинистская страсть, он сгорал от нетерпения «взять» настоящую гору, где нет ни фуникулеров, ни фотографов. Он лишь колебался между Финстерааргорном, как более высокой горой, и Юнгфрау, как горой более знаменитой, красивое название которой своей девственной белизной напоминало ему девушку из России.

Взвешивая все «за» и «против», он в ожидании счета рассматривал в громадном, мрачном и безлюдном зале развешанные по стенам большие раскрашенные фотографии ледников, покрытых снегом горных склонов и славящихся своею опасностью горных проходов. Вот альпинисты тащатся, как муравьи, один за другим, по острому краю синей ледяной глыбы, вон там громадная расселина с серо-зелеными краями, — через нее перекинут мостик, по которому ползет на коленях дама, а за ней, приподняв сутану, аббат.

Тарасконский альпинист так и впился обеими руками в свой ледоруб. Ведь он понятия не имел о том, с какими это сопряжено трудностями. А

теперь уж поздно!..

Вдруг он стал бледен как полотно.

Прямо перед ним в черной раме висела гравюра с известного рисунка Гюстава Доре, запечатлевшего катастрофу на горе Сервен: четыре человека сорвались с почти отвесного ледяного склона и, кто ничком, кто навзничь, катятся, раскинув руки и силясь что-нибудь нащупать, за что-нибудь ухватиться, уцепиться за порванную веревку, на которой только что держалось ожерелье из человеческих жизней и которая теперь стремительно влечет навстречу смерти, увлекает в пропасть груду тел вместе с ледорубами, зелеными вуалями, со всеми пожитками, еще так недавно радовавшими людей и вдруг оказавшимися для них гибельными.

— Вот тебе раз! — невольно вырвалось у перепуганного Тартарена.

Это восклицание услышал метрдотель, а так как он был человек весьма учтивый, то и счел своим долгом успокоить тарасконца. Оказалось, что подобные происшествия случаются все реже и реже. Конечно, осторожность необходима; главное, нужно подыскать хорошего проводника.

Тартарен спросил, нельзя ли указать ему кого-нибудь понадежнее… Бояться-то он не боится, но

взять себе в спутники верного человека все-таки не мешает.

Метрдотель призадумался и с важным видом начал крутить бакенбарды.

— Надежного?.. Эх, жаль, вы раньше не сказали! Утром был тут у нас такой человек, вполне подходящий, — посыльный одного перуанского семейства…

— А горы-то он знает? — с видом многоопытного альпиниста спросил Тартарен.

— Он все горы знает: и швейцарские, и савойские, и тирольские, и индусские, все на свете, он все их излазил, знает как свои пять пальцев, про любую из них вам расскажет… Это просто находка!.. Я думаю, он с удовольствием согласится… С таким человеком малого ребенка куда угодно пустить не страшно.

— А где он? Где мне его найти?

— В Кальтбаде, сударь, — он там снимает помещение для своих путешественников… Мы ему позвоним по телефону.

Телефон на Риги!

Этого только не хватало! Но Тартарен ничему уже не удивлялся.

Через пять минут метрдотель сообщил ему ответ.

Посыльный перуанцев уехал в Телльсплатте и, по всей вероятности, там заночует.

Телльсплатте — это часовня, воздвигнутая в память Вильгельма Телля, одна из многих швейцарских святынь. Туда стекались толпы путешественников — ради фресок, которые тогда заканчивал известный базельский художник.

Пароходом туда можно добраться за час, самое большее — за полтора. Тартарен тотчас же принял решение. Правда, на это уйдет целый день, но зато он почтит память Вильгельма Телля, одного из любимых своих героев, а кроме того, какая это будет удача, если он разыщет такого чудесного проводника и уговорит его отправиться вместе на Юнгфрау!

А ну, скорее в путь!..

Он поспешил уплатить по счету, в котором и заход и восход солнца значились в особой графе рядом со свечой и с прислугой, и, сопутствуемый ужасающим лязгом железа, сеявшим страх и трепет на его пути, двинулся к вокзалу, ибо тратить время на спуск пешком — это для такой ненастоящей горы, как Риги, право же, слишком много чести!

IV

На пароходе. Идет дождь. Тарасконский герой приветствует тени героев умерших. Правда о Вильгельме Телле. Разочарование. Тартарен из Тараскона никогда не существовал. «Эге! Да это Бомпар!»

Снег он оставил на Риги, а внизу, на озере, снова попал под дождь — мелкий, частый, неразличимый, нечто вроде пара, в котором едва заметно проступали очертания дальних ступенчатых гор, похожих на облака.

Дул фен[12] и завивал барашками озеро, чайки летали так низко, словно их несла волна. Казалось, пароход вышел в открытое море.

И вспомнился Тартарену его отъезд из Марселя пятнадцать лет тому назад, когда он вздумал охотиться на львов, безоблачное, слепящее, раскаленное добела небо, синее море, но какое синее: цвета синьки, подернутое рябью оттого, что дул мистраль, и усеянное блестками, сверкавшими,

---

[12] Примечания: 12
Фен — теплый ветер с гор.

точно крупинки соли, горны, заливавшиеся в фортах, звон во все колокола, восторг, ликование, солнце, феерия первого путешествия!

А теперь все совсем другое: почерневшая от сырости, почти безлюдная палуба, на ней сквозь туман, как сквозь промасленную бумагу, виднеются редкие фигуры пассажиров в ульстерах и в плащах, а за ними — закутавшийся в дождевик рулевой, стоящий неподвижно, с торжественным и зловещим видом, под объявлением на трех языках:

ОБРАЩАТЬСЯ К РУЛЕВОМУ С РАЗГОВОРАМИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ

Объявление повесили зря, так как на «Винкельриде»[13] никто ни с кем не разговаривал: ни на палубе, ни в салонах первого и второго классов, до отказа набитых угрюмыми пассажирами, спавшими, читавшими, зевавшими среди ручного багажа, разложенного на скамейках. Так, по всей вероятности, выглядит партия ссыльных, которых на другой же день после государствен-

[13] Примечания: 13

Пароход назван в честь полулегендарного героя борьбы за освобождение Швейцарии от ига Австрии, Арнольда Винкельрида, который в битве при Земпахе (1386 г.) первым бросился на копья австрийцев.

ного переворота отправляют в изгнание.

Время от времени хриплый рев парохода возвещал близость пристани. На палубе шаркали ноги, скрипели перетаскиваемые чемоданы. Из тумана выплывал берег и медленно приближался, открывая взору темно-зеленые склоны гор, виллы, зябко прятавшиеся в мокрый кустарник, грязные, обсаженные тополями дороги, тянувшиеся вдоль дорог роскошные отели, названия которых золотыми буквами были обозначены на вывесках, — «Отель Мейера», «Отель Мюллера», «Озерный», — и в их заплаканных окнах скучающие лица туристов.

Пароход пришвартовывался, люди сходили, всходили, все одинаково забрызганные грязью, мокрые, молчаливые. На набережной — мелькание зонтов и быстро отходивших омнибусов. Затем по воде начинали бить колеса, вспенивая ее своими плицами, берег отступал назад и растворялся в тумане вместе с отелями Мейера, Мюллера и «Озерным», а во всех этажах отелей, в распахивавшихся на секунду окнах появлялись трепетавшие платки и протянутые руки, как бы говорившие: «Смилуйтесь, сжальтесь, возьмите нас с собой!.. Если б вы знали!..»

Изредка «Винкельрид» встречался с другим

каким-нибудь пароходом, название которого обозначалось черными буквами на белом кожухе — «Германия», «Вильгельм Телль»: такая же мрачная палуба, такие же отливавшие зеркальным блеском плащи, столь же невеселая прогулка — независимо от того, в каком направлении двигались пароходы-призраки, и при встрече пассажиры смотрели друг на друга тоскливыми глазами.

И подумать только, что все эти люди путешествовали ради собственного удовольствия и что ради собственного удовольствия очутились в плену пансионеры отелей Мейера, Мюллера и «Озерного»!

И здесь, как и в «Риги-Кульм», особенно угнетала, мучила, сковывала Тартарена — сильнее, чем холодный дождь и пасмурное небо, — невозможность поговорить. Правда, внизу он увидел знакомые лица: члена Джокей-клоба с племянницей (гм! гм!), академика Астье-Рею и профессора Шванталера, двух непримиримых врагов, обреченных целый месяц жить бок о бок, прикованных Компанией Кука[14] к одному и тому же круговому маршруту, и еще кое-кого, но никто

[14] Примечания: 14

Компания Кука — туристское агентство, основанное в 1832 году американцем Томасом Куком (1806-1892).

из этих прославленных черносливцев не желал узнавать тарасконца, чей шлем, железные доспехи и веревка, перекинутая через плечо, делали, однако, его фигуру весьма заметной и совершенно своеобразной. Все они точно стыдились вчерашнего бала, той необъяснимой веселости, которою их заразил этот пылкий толстяк.

Одна лишь фрау Шванталер, маленькая, пухленькая фея с розовым улыбающимся личиком, подошла к своему кавалеру и, словно собираясь танцевать менуэт, приподняла двумя пальчиками юбку.

— Плясирен… танцирен… ошень карашо, — лепетала милая дама.

Было ли это только воспоминание, или ей снова захотелось ритмичного кружения? Как бы то ни было, она впилась в Тартарена, но он, чтобы отделаться от нее, поднялся на палубу: он предпочитал промокнуть до костей, лишь бы не попасть в смешное положение.

А дождь все лил, и небо было все такое же мутное! И, как назло, целый отряд «Армии спасения» был взят на борт в Беккенриде: десять толстых девиц с глупыми лицами, в платьях цвета морской воды и в шляпках «Гринэуэй» жались друг к дружке под тремя громадными красными зон-

тами и распевали псалмы под гармонику, а на гармонике играл человек, похожий на Давида Ла Гамма, долговязый, костлявый, с безумными глазами. Неуверенные, фальшивившие голоса девиц, пронзительные, как голос чайки, пробивались, прорывались сквозь дождь и клубы черного дыма, которые пригнетал ветер. Ничего более унылого Тартарен не слыхал за всю свою жизнь.

В Бруннене воинство, набив карманы путешественников тощими брошюрками духовно-нравственного содержания, сошло с парохода. И стоило гармонике и пению несчастных вопленицсмолкнуть, как небо местами очистилось и в просветах заголубело.

Пароход между тем вошел в озеро Ури, затененное, зажатое между двумя неприступными горами, а справа, у подножья Зеелисберга, внимание туристов привлекло то самое Грютлийское поле, где Мельхталь, Фюрст и Штауффахер поклялись освободить свою отчизну[15].

Тартарен, глубоко взволнованный, невзирая на всеобщее изумление, благоговейно обнажил

[15] Примечания: 15

Согласно преданию, эти представители подвластных Австрии швейцарских кантонов Унтервадьд, Ури и Швиц, собравшись в ночь с 7 на 8 ноября 1307 года на поле Рютли, дали клятву освободить свои земли от ига австрийцев.

голову и трижды взмахнул фуражкой, дабы почтить память героев. Кое-кто из пассажиров, неверно истолковав этот жест, ответил ему учтивым поклоном.

Наконец пароход сипло взвыл, и этот вой многократно повторило в узком проходе эхо. Надпись на дощечке, которую вывешивали на палубе перед каждой новой пристанью, как на публичных балах перед каждой новой фигурой кадрили, на сей раз возвещала: «Телльсплатте».

Приехали.

Часовня стоит в пяти минутах ходьбы от пристани, у самого озера, как раз на той скале, на которую во время бури прыгнул из лодки Гесслера Вильгельм Телль[16]. С неизъяснимо блаженным чувством шел Тартарен берегом озера вслед за путешественниками, избравшими круговой маршрут Кука («по историческим местам»), и вспоминал, воскрешал в памяти главнейшие

[16] Примечания: 16

По преданию, Телль отказался поклониться шляпе Гесслера и за это был задержан в городе Альтдорфе. Наместник обещал отпустить его, если Телль — самый меткий стрелок в Швейцарии — собьет стрелой яблоко с головы своего сына. Теллю удалось это сделать, но он поклялся убить Гесслера стрелой, которую спрятал на груди. Гесслер заметил это и арестовал Телля, но по дороге в тюрьму Телль бежал, выпрыгнув из лодки. Вскоре он убил Гесслера. Это послужило сигналом к восстанию трех кантонов.

эпизоды великой драмы[17], которую он знал, как свою собственную биографию.

Вильгельм Телль во все времена был его идеалом. Когда в аптеке у Безюке гости играли в «Кто что любит» и каждый писал на бумажке, которую потом тщательно складывал, какого поэта, какое дерево, какой запах, какого героя, какую женщину он больше всего любит, то в одной из записок неизменно стояло:

Любимое дерево? — Баобаб.

Любимый аромат? — Запах пороха.

Любимый писатель? — Фенимор Купер.

Кем бы я хотел быть? — Вильгельмом Теллем…

И вся аптека единодушно восклицала: «Это Тартарен!»

Представьте же себе теперь, как он был счастлив и как билось у него сердце, когда он подходил к часовне, которую воздвиг в память Вильгельма Телля благодарный народ! Ему казалось, что сам Вильгельм Телль, с луком и стрелами, весь еще пропитанный озерной водой, сейчас отворит

---

[17] Примечания: 17
Драма Шиллера «Вильгельм Телль» (1804).

ему дверь.

— Сюда нельзя!.. Я тут работаю… Сегодня музей закрыт… — раздался в часовне громкий голос, еще усиленный гулкими сводами.

— Член Французской академии Астье-Рею!

— Профессор Шванталер!..

— Тартарен из Тараскона!..

В стрельчатом окне над порталом показался взобравшийся сюда по лесам и видный почти до пояса живописец в рабочей блузе, с палитрой в руке.

— Мой *famulus*[18] сейчас вам отворит, господа, — сказал он почтительно.

«Я так и знал, ей-ей! — подумал Тартарен. — Мне надо было только назвать себя».

Тем не менее он из деликатности уступил дорогу другим и скромно вошел в часовню последним.

Живописец, красавец мужчина с шапкой золотых волос, придававших ему сходство с художником эпохи Возрождения, встретил посетителей, стоя на приставной лестнице, которая вела на леса, устроенные для росписи верхней части часовни. Фрески, изображавшие главные

---

[18] Примечания: 18
прислужник *(лат.)*

эпизоды жизни Вильгельма Телля, были закончены, кроме одной, воспроизводившей сцену с яблоком на площади в Альтдорфе. Над этой сценой как раз сейчас и трудился живописец, а его юный famulus, как он его называл, с волосами архангела, с голыми руками и босыми ногами, в средневековом одеянии, позировал ему для фигуры сына Вильгельма Телля.

Все эти исторические личности в красных, зеленых, желтых и синих одеждах, изображенные на узких улицах или под сводами древних башен больше чем в натуральную величину, чтобы их хорошо было видно снизу, вблизи производили не совсем выгодное впечатление, но так как путешественники ехали сюда восхищаться, то они выразили живописцу свое восхищение. К тому же никто из них ничего не смыслил в живописи.

— На мой взгляд, все это очень колоритно! — изрек Астье-Рею, держа в руке саквояж.

А Шванталер, со складным стулом под мышкой, тоже в грязь лицом не ударил и продекламировал две строчки из Шиллера, добрая половина коих застряла, впрочем, в его густой бороде. Тут заахали дамы, и некоторое время только и было слышно:

— *Schon!.. Oh! Schon!..*[19]

— *Yes… lovely…*[20]

— Упоительно, дивно…

Можно было подумать, что действие происходит в кондитерской.

Внезапно возгремел некий голос и, точно звук трубы, спугнул всеобщее благоговейное молчание:

— А по-моему, так никто не стреляет… Он у вас арбалет неправильно держит…

Можете себе представить изумление живописца при виде небывалого альпиниста, который с крюком в руке, с ледорубом на плече, рискуя при каждом своем повороте кого-нибудь сокрушить, стал наглядно доказывать ему, что движение Вильгельма Телля передано неверно!

— Уж я-то это дело знаю… Можете не сомневаться…

— Да вы кто такой?

— Как кто такой?.. — воскликнул сильно задетый тарасконец.

Так, значит, это не перед ним распахнулась дверь часовни?

---

[19] Примечания: 19
Прекрасно… О! Прекрасно!.. *(нем.)*

[20] Примечания: 20
Да… прекрасно… *(англ.)*

— Спросите, кто я такой, у пантер Заккара и у львов Атласа, — сказал он, приосанившись, — быть может, они вам ответят.

Все в ужасе шарахнулись.

— Но почему же все-таки я неверно передал движение? — спросил живописец.

— А ну, смотрите на меня!

Тартарен дважды топнул ногой так, что пыль поднялась столбом, и, нацелившись из ледоруба, точно из арбалета, принял соответствующую позу.

— Чудесно! Он прав… Стойте так…

И, обратившись к «фамулусу», живописец крикнул:

— Картон, уголь, живо!

В самом деле: тарасконец, коренастый, широкоплечий, выставивший вперед голову в вязаном шлеме с подбородником и, сверкая своим маленьким глазом, целившийся в перепуганного «фамулуса», представлял собою превосходную натуру.

О, волшебная сила воображения! Ему уже казалось, что перед ним на площади Альтдорфа стоит его сын, которого у него, кстати сказать, никогда не было. Одну стрелу Тартарен собирается метнуть из арбалета, а другая у него за

поясом, — ею он пронзит сердце тирана. И так он это живо себе представил, что и окружающие были заворожены.

— Это Вильгельм Телль! — сидя на скамейке и с лихорадочной поспешностью набрасывая эскиз, повторял живописец. — Ах, милостивый государь, как жаль, что я не знал вас прежде! Я писал бы с вас…

— Да что вы! Вы находите некоторое сходство? — не меняя позы, спросил польщенный Тартарен.

Да, живописец именно таким представлял себе своего героя.

— И черты лица тоже?

— Это не важно!.. — Немного отодвинувшись, живописец взглянул на эскиз. — Мужественное, энергичное выражение — это все, что нужно. Ведь о Вильгельме Телле ничего неизвестно, — может быть, он никогда и не существовал.

Тартарен от неожиданности выронил арбалет:

— А, идите вы!..[21] Никогда не существовал!.. Что вы мне сказки рассказываете?

---

[21] Примечания: 21

«А, идите вы!..» и «А, чтоб!..» — распространенные в Тарасконе ругательства, смысл коих не совсем ясен; дамы — и те употребляют их иногда, но неизменно смягчая: «А, чтоб!.. извините за выражение!..» *(Примеч. А. Доде.)*

— Спросите у этих господ…

Астье-Рею, уперев свой тройной подбородок в белый галстук, торжественно возгласил:

— Это датская легенда.

— *Islandische*…[22] — с не менее величественным видом заявил Шванталер.

— Саксон Грамматик[23] рассказывает, что некий отважный лучник по имени Тоб или Пальтаноке…

— *Es ist in der Vilkinasaga geschrieben*…[24]

Оба вместе:

— …был приговорен датским королем Гарольдом Голубые Зубы…

— …*dass der Islandische Konig Needing*…[25]

Уставившись в одну точку, вытянув руки, не глядя друг на друга и ничего не слушая, они говорили одновременно поучающим, безапелляционным тоном, тоном профессора, вещающего с

---

[22] Примечания: 22

исландская… *(нем.)*

[23] Примечания: 23

Саксон Грамматик — датский летописец XII века.

[24] Примечания: 24

В «Вилькина-саге» написано… *(нем.)*

«Вилькина-сага» — немецкая компиляция, созданная в XIII веке на основе героических саг исландского эпоса «Эдда».

[25] Примечания: 25

…что исландский король Некдинг… *(нем.)*

кафедры неоспоримые истины. Они горячились, выкрикивали даты, имена: «Юстингер Бернский! Иоанн Винтертурский!..»

Постепенно все посетители втянулись в этот жаркий, яростный спор. Все размахивали складными стульями, зонтами, чемоданами, а несчастный живописец, опасаясь за прочность лесов, бегал от одного к другому и просил успокоиться. Как только буря утихла, он опять взялся за свой эскиз и стал искать таинственного альпиниста, чье имя могли ему сообщить только пантеры Заккара и львы Атласа, но альпиниста и след простыл.

Альпинист в это время быстрым и нервным шагом поднимался вверх по узкой дорожке, обсаженной буками и березами, к отелю «Телльсплатте», где должен был ночевать посыльный перуанцев, и, в пылу разочарования рассуждая вслух, с остервенением втыкал альпеншток в размытую дождями землю.

Вильгельм Телль никогда не существовал! Вильгельм Телль — легенда! И это ему прехладнокровно заявляет живописец, которому поручено расписать часовню Телльсплатте! Тартарен обвинял его в святотатстве, негодовал на наш век, век отрицания, разрушения, нечестия, век ничего не

уважающий: ни славы, ни величия, черт побери!

Так же вот через двести-триста лет, когда речь зайдет о Тартарене, найдутся новые Астье-Рею и Шванталеры и станут доказывать, что Тартарен никогда не существовал, что это провансальская или же берберийская легенда! Тяжело дыша от возмущения и от крутого подъема, он остановился и присел на скамейку.

Отсюда в просветах между деревьями виднелось озеро и белые стены часовни, похожей на только что воздвигнутый мавзолей. Рев парохода и плеск шлепающегося в воду причала возвещали прибытие новых туристов. С путеводителями в руках они собирались на берегу, а потом, воздевая руки, передавая друг другу легенду о Вильгельме Телле и сопровождая свою речь скупыми жестами, направлялись к часовне. И тут вдруг, благодаря неожиданному обороту мыслей, все представилось Тартарену в смешном виде.

Он подумал о том, что вся история Швейцарии зиждется на этом вымышленном герое; в честь его на площадях маленьких городов воздвигаются часовни, а в музеях больших городов — статуи, устраиваются патриотические празднества, на которые стекаются со знаменами представители всех кантонов. И потом банкеты, тосты, речи,

крики «ура», пение, слезы, душащие грудь, — все это ради великого патриота, который, как всем хорошо известно, никогда и не существовал.

А еще говорят про Тараскон! Такой тараскона-ды и там ни за что никому не придумать!

Придя в веселое расположение духа, Тартарен двинулся бодрым шагом вперед и скоро вышел на Флюэленскую дорогу, возле которой вытянул свой длинный фасад с зелеными ставнями отель «Телльсплатте». В ожидании звонка к обеду пансионеры ходили взад и вперед по дороге, где что ни шаг, то выбоина, мимо облицованного ракушками фонтана, мимо вереницы карет с опущенными оглоблями и перешагивали через лужи, в которые гляделся медно-красный закат.

Тартарен спросил о проводнике. Ему ответили, что он обедает.

— А ну, ведите меня к нему!

Это было сказано таким повелительным тоном, что, несмотря на священный ужас, который здесь испытывали при одной мысли, что придется по-беспокоить столь важную особу, служанка повела альпиниста через весь отель, где его появление вызывало легкий столбняк, к драгоценному проводнику, кушавшему отдельно в маленькой комнате окнами во двор.

— Милостивый государь! — держа на плече ледоруб, заговорил Тартарен. — Прошу меня извинить…

Но он тут же осекся, а посыльный, длинный, тощий, с салфеткой у подбородка, окутанный облаком душистого пара, поднимавшегося от тарелки с горячим супом, уронил ложку:

— Э, да это господин Тартарен!

— Эге! Да это Бомпар!

В самом деле: перед ним сидел Бомпар, бывший буфетчик Тарасконского клуба, малый славный, но отягощенный чудовищным воображением, по причине чего он за всю свою жизнь не сказал ни единого слова правды и был прозван в Тарасконе «Выдумщиком». Заслужить в Тарасконе репутацию выдумщика — судите после этого сами, что же он должен был собой представлять! Так вот он, этот несравненный проводник, облазивший Альпы, Гималаи и даже Лунные горы!

— А! Ну, теперь я понимаю… — произнес Тартарен, слегка разочарованный и все же обрадованный встречей с земляком, в восторге от того, что слышит родной говор.

— Вы уж, господин Тартарен, пообедайте со мной. *Чтэ*?

Тартарен немедленно согласился — он пред-

вкушал удовольствие посидеть за маленьким уютным столиком, накрытым на две персоны, без этих сеющих смуту соусников, удовольствие чокаться, говорить за едой, есть превкусные вещи, все самое свежее, отменно приготовленное, ибо содержатели отелей прекрасно ухаживают за господами посыльными: кормят их отдельно, подают им лучшие вина и изысканнейшие блюда.

И уж тут посыпались всякие «*э, ну чтэ*, все-таки»!

— Так это ваш голос я слышал нынче ночью там, на вышке?..

— *Кнэчно!..* Я предлагал барышням полюбоваться... А до чего же хорош восход солнца на Альпах, правда?

— Чудо как хорош! — сказал Тартарен; заговорил он сперва не совсем уверенно, только чтобы не противоречить собеседнику, но быстро воспламенился, и нельзя было не даться диву, слушая, как два тарасконца восторженно славят пиршество для глаз, которое им будто бы открылось на Риги. Можно было подумать, что это выдержки из Жоанна и Бедекера.

С каждой минутой разговор становился все задушевнее, откровеннее, начались уверения, излияния, и от этих излияний навертывались

непрошеные слезы на блестящие, живые глаза, в которых, несмотря на всю провансальскую чувствительность обоих собеседников, ни на минуту не угасали искорки шутливости и лукавства. Впрочем, этим и ограничивалось сходство двух друзей, так как во всем остальном Бомпар, поджарый, подсушенный, обветренный, покрытый морщинами, которыми его наградила профессия, являл собою полную противоположность Тартарену, низкорослому, плотному, румяному, с гладкой кожей.

Чего только не навидался милейший Бомпар с тех пор, как покинул Клуб! Ненасытное воображение влекло его все вперед и вперед, перебрасывало из страны в страну, подвергало всевозможным превратностям судьбы! И он повествовал о своих приключениях, описывал представлявшиеся ему счастливые случаи, когда он мог бы разбогатеть, рассказывал о том, как он упускал эти случаи, о том, какая неудача постигла, например, его последнее изобретение, дававшее возможность сократить военный бюджет за счет расходов на солдатскую обувь…

— И знаете, каким образом?.. Ах, боже мой, да это же так просто!.. Я предлагал подковать солдат.

— А, идите вы! — ужаснулся Тартарен.

Но Бомпар продолжал совершенно спокойно, с характерным для него видом тихо помешанного:

— Ведь правда, замечательная идея? Ну и вот, а министерство даже не сочло нужным мне ответить… Ах, дорогой господин Тартарен, я так бедствовал, я так нуждался, прежде чем мне удалось поступить на службу в Компанию…

— В какую Компанию?

Бомпар с таинственным видом понизил голос до шепота:

— Тес! Потом, только не здесь… Ну, а что новенького у вас в Тарасконе? — спросил он обычным своим голосом. — Вы мне еще не рассказали, какими судьбами очутились вы у нас в горах…

Настала очередь Тартарена изливать душу. Беззлобно, но с оттенком предзакатной грусти, тоски, охватывающей с годами великих художников, необыкновенных красавиц, всех покорителей народов и сердец, рассказал он про отступничество сограждан, про заговор, имевший целью отнять у него пост президента, и про свое решение совершить геройский подвиг — совершить великое восхождение, водрузить тарасконское знамя выше, чем кто-либо водружал его до сих пор, доказать наконец тарасконским альпинистам, что

он всегда был достоин… всегда был достоин…

Тут голос у Тартарена дрогнул, и он вынужден был умолкнуть, но немного погодя продолжал:

— Вы меня знаете, Гонзаг…

Невозможно передать, сколько сердечности, сколько сближающей нежности вложил он в трубадурское имя Бомпара. Это все равно, как если бы он пожал ему руку и приложил ее к своему сердцу…

— Вы меня знаете! *Чтэ?* Вы знаете, я не струсил, когда нужно было идти на львов, и во время войны, когда мы с вами вместе организовали оборону Клуба…

Бомпар кивнул головой, и лицо его приняло мрачное выражение, — он как сейчас видел все это перед собой.

— Так вот, мой друг, чего не могли сделать ни львы, ни пушки Круппа, то удалось Альпам… Мне страшно.

— Не говорите этого, Тартарен!

— Почему? — с невыразимой кротостью в голосе молвил герой. — Я говорю правду…

Просто, без малейшей рисовки рассказал он о том, какое впечатление произвел на него рисунок Доре, воспроизводящий катастрофу в Сервене, которая так и стоит у него перед глазами. Подоб-

ные опасности пугают его, и вот почему, услыхав про необыкновенного проводника, способного предотвратить их, он решил вверить свою судьбу Бомпару.

— Вы ведь никогда не были проводником, Гонзаг? — спросил он самым естественным тоном.

— Как не бывал!.. — с улыбкой ответил Бомпар. — Только я совершал не все, о чем рассказываю…

— Само собой! — поддержал его Тартарен.

— Выйдем на дорогу, — шепнул Бомпар, — там можно говорить свободнее.

Надвигалась ночь. Теплый, влажный ветер гнал разорванные облака по небу, где хотя и смутно, но все еще виден был серый пепел дотлевавшего заката. Приятели шли рядом по направлению к Флюэлену; оба похожие на тени, они двигались молча, натыкаясь на безгласные тени проголодавшихся туристов, шедших обратно в отель, — двигались до тех пор, пока дорога не превратилась в длинный, тянущийся вдоль берега туннель, местами открытый со стороны озера наподобие террасы.

— Остановимся здесь… — Голос Бомпара гулко, подобно пушечному выстрелу, прокатился под сводами туннеля.

Они сели на парапет и невольно залюбовались чудесным видом на озеро, к которому сбегали густо разросшиеся черные ели и буки. Дальше виднелись более высокие горы, вершины которых тонули во мраке, а за ними еще и еще — те представляли собой нечто совсем уже неясное, голубоватое, похожее на облака. Между ними в расселинах залегли едва различимые белые полосы ледников. И вдруг эти ледники засверкали радужными бликами — желтыми, зелеными, красными. Гору освещали бенгальским огнем.

Из Флюэлена взлетали ракеты и рассыпались многоцветными звездами, венецианские фонари мелькали на невидимых лодках, сновавших по озеру, — оттуда доносились звуки музыки и веселый смех.

Точь-в-точь декорация для феерии, заключенной в рамку геометрически правильных, холодных гранитных стен туннеля.

— Какая, однако, забавная страна Швейцария!.. — воскликнул Тартарен.

Бомпар расхохотался.

— Какая там Швейцария!.. Во-первых, никакой Швейцарии на самом деле и нет!

V
Откровенный разговор в туннеле

— Швейцария в настоящее время, господин Тартарен, — а, да что там!.. — просто обширный курзал, открытый с июня по сентябрь, только и всего, казино с панорамами, куда люди отовсюду съезжаются развлекаться, и содержит его богатейшая Компания, у которой миллионов этих самых куры не клюют, а правление ее находится в Женеве и в Лондоне. Можете себе представить, сколько потребовалось денег, чтобы взять в аренду, причесать и приукрасить весь этот край с его озерами, лесами, горами и водопадами, чтобы просодержать целое войско служащих и статистов, чтобы отстроить на вершинах гор отели с газом, с телеграфом, с телефоном!..

— А ведь верно, — вспомнив Риги, вслух думает Тартарен.

— Как же не верно!.. А вы еще ничего не видели… Заберитесь подальше — во всей стране вы не найдете ни единого уголка без эффектов и бутафории, как за кулисами в оперном театре: во-

допады, освещенные *a giorno*[26], турникеты при входе на ледники, а для подъема — сколько угодно гидравлических двигателей и фуникулеров. Только ради своих английских и американских клиентов Компания заботится о том, чтобы некоторые наиболее известные горы — Юнгфрау, Монах, Финстерааргорн — казались дикими и опасными, хотя на самом-то деле риска там не больше, чем в других местах.

— Ну, хорошо, мой друг, а расселины, эти страшные расселины… Если туда упасть?

— Вы упадете на снег, господин Тартарен, и даже не ушибетесь. Внизу, на дне расселины, непременно найдутся носильщики, охотники или еще кто-нибудь; вас поднимут, почистят, отряхнут да еще любезно спросят: «Не надо ли понести вещи, сударь?..»

— Да что вы мне голову морочите, Гонзаг?

Но Бомпар, придав себе еще больше важности, продолжает:

— Содержание этих расселин составляет один из самых крупных расходов Компании.

На минуту в туннеле воцаряется молчание, и вокруг тоже все затихает. Погасают разноцветные

---

[26] Примечания: 26
ярким светом *(итал.)*

огни, не взлетают больше ракеты, и не скользят по озеру лодки. Но зато восходит луна, и под ее неуловимым голубоватым светом с врезающимися в него клиньями глубокой тени все становится каким-то неправдоподобным…

Тартарен не знает, верить или не верить приятелю. Он припоминает все то необычайное, что ему довелось видеть за эти несколько дней, — восход солнца на Риги, комедию с Вильгельмом Теллем, — и ему начинает казаться, что в россказнях Бомпара доля правды есть: ведь в каждом тарасконце краснобай уживается с простаком.

— А как же все-таки вы объясните, мой друг, страшные катастрофы… Сервенскую, например?..

— Это произошло шестнадцать лет назад, господин Тартарен, Компании тогда еще не было.

— Ну, а случай на Веттергорне в прошлом году, когда погибли два проводника вместе с путешественниками?..

— А, черт подери, да ведь надо же хоть чем-нибудь приманить альпинистов!.. Англичане не полезут на гору, где никто никогда не сломил себе шею… Веттергорн с некоторых пор захирел, а после этого незначительного происшествия сборы немедленно поднялись.

— Ну, а как же два проводника?..

— Целы и невредимы, так же как и путешественники. Проводников только убрали с глаз долой, полгода продержали за границей… Дорогостоящая реклама, но Компания достаточно богата, чтобы позволить себе такую роскошь.

— Послушайте, Гонзаг…

Тартарен встал и положил руку на плечо бывшему буфетчику.

— Ведь вы не желаете мне зла. *Чтэ?* Ну так вот, скажите мне по чистой совести… Сами знаете, альпинист я неважный.

— Очень даже неважный, что верно, то верно!

— А как вы думаете: могу я все-таки без особого риска попытаться взойти на Юнгфрау?

— Головой вам ручаюсь, господин Тартарен… Доверьтесь проводнику, только и всего!

— А если у меня голова закружится?

— Закройте глаза.

— А если я поскользнусь?

— Ну и что ж такого?.. Здесь все как в театре… Все предусмотрено. Опасности ни малейшей…

— Ах, если б вы все время находились при мне и напоминали мне об этом!.. Пожалуйста, голубчик, сделайте доброе дело, пойдемте вместе!..

На что бы лучше! Но, увы, до конца сезона

Бомпар связан с перуанцами. Тартарен выразил удивление по поводу того, что Бомпар принял на себя обязанности посыльного, прислужника.

— Ничего не поделаешь, господин Тартарен!.. Наше дело маленькое… Компания имеет право распоряжаться нами, как ей заблагорассудится.

И тут Бомпар давай перечислять все свои превращения за три года: проводник в Оберланде, игрок на альпийском роге, заядлый охотник на серн, ветеран, служивший еще при Карле X[27], протестантский пастор, проповедующий в горах…

— Это еще что такое? — с изумлением спрашивает Тартарен.

— Да, да! — не моргнув глазом, продолжает Бомпар. — Если бы вы путешествовали по немецкой Швейцарии, то не раз могли бы заметить на головокружительной высоте пастора, проповедующего под открытым небом со скалы или с кафедры, которой ему служит неотесанная деревянная колода. Вокруг него в живописных позах располагаются пастухи, сыровары с кожа-

---

[27] Примечания: 27

Начиная с XVII века швейцарская гвардия охраняла французских королей. В 1815 году она была восстановлена, и четыре полка швейцарцев служили в охране последних Бурбонов — Людовика XVIII и Карла X — вплоть до Июльской революции 1830 года.

ными фуражками в руках, женщины, одетые и убранные так, как принято у них в кантоне. Вид прелестный: луга, травянистые или же только что скошенные, потоки, сбегающие с гор на дорогу, стада, позвякивающие тяжелыми колокольцами на каждом уступе, и все это — э-эх! — все это одна декорация, все это фигуранты. Но об этом знают только служащие Компании: проводники, пасторы, посыльные, трактирщики, и в их интересах не разглашать тайны, иначе можно лишиться клиентов.

Огорошенный альпинист молчит, что всегда является у него признаком наивысшего потрясения. В глубине души у него еще остаются некоторые сомнения в достоверности Бомпаровых сведений, но все же он приободряется, — восхождение на Альпы уже не кажется ему таким страшным, и его беседа с Бомпаром становится все веселее. Приятели говорят о Тарасконе, о том, что они оба вытворяли в молодости.

— Кстати о проказах, — вдруг вспоминает Тартарен, — со мной сыграли славную шутку в «Риги-Кульм»... Представьте себе, нынче утром...

И он рассказывает о письме, приклеенном к зеркалу, особенно подчеркивая обращение «Чертов француз».

— Ведь это мистификация! *Чтэ?..*

— Не знаю… Может быть…

Бомпару дело все же представляется серьезнее. Он спрашивает, не вышло ли у Тартарена на Риги с кем-либо истории, не сказал ли он чего-нибудь лишнего.

— Чего-нибудь лишнего? Да будет вам! С англичанами да с немцами рта не раскроешь — они немы как рыбы: это у них называется хорошим тоном.

Подумав, Тартарен, однако, вспоминает, что он повздорил — и притом крупно — с каким-то казаком, неким Ми… Милановым.

— Маниловым, — поправляет Бомпар.

— А вы его знаете?.. По-моему, этот самый Манилов обозлился на меня из-за русской девушки…

— Да, да, из-за Сони… — озабоченно бурчит Бомпар.

— А вы и ее знаете? Ах, мой друг, это жемчужина, это очаровательная серенькая куропаточка…

— Соня Васильева… Она выстрелом из револьвера убила на улице председателя военно-полевого суда генерала Фелянина, который приговорил ее брата к пожизненной каторге.

Соня — убийца! Этот ребенок, эта блондиночка… Тартарену не верится. Но Бомпар приводит

неопровержимые доказательства, описывает во всех подробностях это громкое дело. Вот уже два года, как Соня живет в Цюрихе, где поселился потом ее чахоточный брат Борис, бежавший из Сибири. Все лето она заставляет его дышать чистым горным воздухом. Бомпар часто встречал их в кругу друзей, таких же, как они, заговорщиков, эмигрантов. Васильевы, люди очень неглупые, очень энергичные, все еще довольно состоятельные, возглавляют партию нигилистов вкупе с Болибиным, который убил шефа жандармов, и Маниловым, который в прошлом году устроил взрыв в Зимнем дворце.

— А, прах их побери! — восклицает Тартарен. — Приятные, однако, соседи были у меня в «Риги»!

Да, но это еще только цветочки. Бомпар не сомневается, что пресловутая записка исходила от этих молодых людей. Знает он все их нигилистические фокусы! Царь каждое утро находит подобные предостережения у себя в кабинете или под салфеткой…

— Но к чему все эти угрозы? — бледнея, говорит Тартарен. — Что я им сделал?

Бомпар полагает, что они приняли его за шпиона.

— Меня? За шпиона?

— Ну да!

Во всех нигилистических центрах — в Цюрихе, Лозанне, Женеве — русское правительство содержит многочисленную тайную агентуру и тратит на это большие деньги. Совсем недавно оно подговорило бывшего начальника французской полиции и человек десять корсиканцев под разными личинами следить и наблюдать за русскими изгнанниками с тем, чтобы в конце концов схватить их. А ведь тарасконского альпиниста с его очками и с его выговором не мудрено принять за соглядатая.

— Черт побери! Теперь мне понятно… — бормочет Тартарен. — По пятам за ними всюду ходит проклятый итальянский тенор… Это, конечно, сыщик… А мне-то что же все-таки делать?

— Самое главное — старайтесь не попадаться им на глаза, они же вас предупредили.

— А, пошли они с их предупреждением!.. Первому, кто ко мне приблизится, я размозжу голову вот этим самым ледорубом.

И глаза тарасконца сверкнули во мраке туннеля. Но на Бомпара это не действует успокоительно: он знает, как ужасна ненависть нигилистов, ненависть, которая расставляет ловушки, ведет подкопы, взрывает. Тут недостаточно быть

таким молодцом, каков наш тарасконский президент, — отныне будь начеку: осмотри кровать в гостинице, прежде чем лечь, осмотри стул, прежде чем сесть, осмотри борт на пароходе, ибо он может неожиданно подломиться — и ты ушел на дно. А кушанья, а стаканы, вымазанные невидимым ядом!

— Бойтесь киршвассера, которого вам нальют в вашу флягу, парного молока, которое вам принесет пастух. *Они* ни перед чем не останавливаются, уверяю вас!

— Как же теперь быть? Я пропал! — упавшим голосом говорит Тартарен и, схватив своего приятеля за руку, умоляет: — Посоветуйте мне, Гонзаг!

После минутного раздумья Бомпар намечает план. Выехать завтра чуть свет, переехать озеро, перебраться через Брюннигский перевал и заночевать в Интерлакене. На следующий день — Гриндельвальд и Малая Шейдек. Еще через день — Юнгфрау! А затем, не теряя ни минуты, скорей, скорей в Тараскон!

— Завтра же еду, Гонзаг... — решительно заявляет наш герой, устремив полный ужаса взор к таинственному горизонту, окутанному непроглядным ночным мраком, и к холодно по-

блескивающей озерной глади, под которой так и чудятся ему всевозможные козни…

VI

Брюннигский перевал. Тартарен попадает в лапы к нигилистам. Исчезновение итальянского тенора и авиньонской веревки. Новые подвиги стрелка по фуражкам. Бах! Бах!

— *Сатитесь!.. Сатитесь ше!*

— Куда же я, черт побери, сяду? Все места заняты! Меня никуда не пускают…

Это происходило в самом конце Озера четырех кантонов, на Альпнахском берегу, сыром, болотистом, как дельта; почтовые экипажи собираются тут целыми обозами, берут пассажиров, сходящих с пароходов, и переправляют их через Брюнниг.

С утра зарядил мелкий дождь — каждая его капля была не больше острия иголки. Добрый Тартарен, связанный по рукам и ногам своим снаряжением, толкаемый почтовыми и таможенными чиновниками, громоздкий, шумный, точно музыкальный клоун на ярмарке, каждое движение которого заставляет звучать то треугольник, то барабан, то бубен, то цимбалы, бегал

от экипажа к экипажу. У всех дверок его встречал один и тот же вопль ужаса, одно и то же недовольное, ворчливое: «ПолнО!» — произносимое на всех языках, и каждый пассажир считал своим долгом расставить пошире локти, чтобы занять побольше места и не пустить такого опасного, такого громыхающего соседа.

Несчастный потел, пыхтел, кричал: «А, черт вас всех дери!» — и отчаянно размахивал руками в ответ на возгласы нетерпения, которые неслись из всех дилижансов: «Пошел!», «*All right!*», «*Andiamo!*», «*Vorwarts!*»[28]. Лошади бились, кучера ругались. Под конец вмешался почтальон, краснорожий верзила в мундире и плоской фуражке: он распахнул дверцу полузакрытого ландо, впихнул туда Тартарена, как тюк, и, застыв в величественной позе возле крыла экипажа, протянул руку за *Trinkgeld*[29].

Униженный, возмущенный своими соседями, которые встретили его *manu militari*[30], Тартарен, сделав вид, что не замечает их, засунул портмоне

---

[28] Примечания: 28
Отлично! *(англ.)* Поехали! *(итал.)* Вперед! *(нем.)*

[29] Примечания: 29
чаевыми *(нем.)*

[30] Примечания: 30
здесь: враждебно *(лат.)*

поглубже в карман и поставил ледоруб рядом с собой, и все это он делал в сердцах, все это выходило у него нарочито грубо, — можно было подумать, что он сошел с парохода, курсирующего между Дувром и Кале[31].

— Здравствуйте!.. — вдруг послышался знакомый нежный голос.

Тартарен вскинул глаза и замер от ужаса: он увидел перед собой хорошенькое розовое личико Сони, сидевшей напротив, под поднятым верхом, рядом с высоким молодым человеком, столь плотно закутанным в пледы и одеяла, что виден был только его мертвенно-бледный лоб, на который свисали пряди волос, такие же тоненькие и золотистые, как дужки его очков, очков для близоруких; вне всякого сомнения, это был ее брат. С ними ехал еще один человек, которого Тартарен узнал сразу, — Манилов, тот самый, что взрывал Зимний дворец.

Соня, Манилов… Ну, значит, мышеловка!

Вот где они приведут в исполнение свою угрозу! На Брюннигском крутом перевале, где с обеих сторон пропасти. И тут наш герой, озаренный

---

[31] Примечания: 31

То есть через Ла-Манш, между Англией и Францией. Доде намекает на грубость, которая якобы была свойственна английским туристам во Франции.

внезапным страхом, раскрывшим ему всю глубину опасности, мгновенно представил себе, как он лежит на каменистом дне пропасти, как он повисает на самой вершине дуба. Бежать? Но как и куда? Экипажи тронулись, вот они уже мчатся в ряд под звуки рожка, стайки мальчишек суют в дверцы букетики эдельвейсов. Обезумевший Тартарен решил было, не дожидаясь покушения, напасть самому и раскроить альпенштоком череп сидевшему рядом с ним казаку, но, поразмыслив, счел за благо воздержаться. Всего вероятнее, эти люди попытаются напасть на него позднее, в местах безлюдных, а до тех пор он еще, пожалуй, успеет дать тягу. Да и потом, никаких проявлений недоброжелательства с их стороны больше не замечалось. Соня ласково улыбалась ему своими красивыми бирюзовыми глазами, высокий бледный молодой человек смотрел на него с любопытством, а Манилов, явно смягчившись, любезно подвинулся, чтобы Тартарену было куда положить мешок. Может быть, они поняли свою ошибку, прочитав в «Риги-Кульм», в книге для приезжающих, славное имя Тартарена?.. Решив окончательно в этом удостовериться, он заговорил непринужденно и благожелательно:

— Какая приятная встреча, молодые люди!..

Но только позвольте мне наконец представиться… Вы же не знаете, кто я, а я-то отлично знаю, кто вы.

— Тсс! — приставив к губам пальчик, обтянутый шведской перчаткой, произнесла улыбающаяся Соня и показала на козлы: рядом с кучером сидели под одним зонтом тенор в манжетах и еще один русский юноша; оба смеялись и разговаривали друг с другом по-итальянски.

В выборе между агентом полиции и нигилистами Тартарен не колебался.

— А вы хоть знаете, что это за человек? — спросил он шепотом, приблизив свое лицо к свежему личику Сони, а она в ответ моргнула ему, и ясные ее глаза вдруг стали строгими и суровыми.

Герой вздрогнул, но так, как вздрагивают в театре: он испытывал то блаженное состояние, когда по телу у вас бегают мурашки и вы поудобнее усаживаетесь в кресле, чтобы еще внимательнее следить за крайне запутанной интригой. Его лично это уже не касалось, наконец-то рассеялись мучительные ночные страхи, отравившие то удовольствие, которое ему всегда доставляло по утрам кофе по-швейцарски, кофе с маслом и с медом, и вынуждавшие его держаться на пароходе как можно дальше от борта, и теперь он дышал

полной грудью и находил, что жизнь прекрасна, а что эта русская девушка в дорожной шапочке, в фуфайке, доходившей ей чуть не до самого подбородка, обтягивавшей руки и обрисовывавшей ее еще слишком тоненькую, но безукоризненно изящную фигурку, неотразимо очаровательна. И какое же она еще дитя! Все у нее детское: и этот чистый смех, и пушок на щеках, и та милая грация, с какою она укрывает пледом ноги своему брату: «Как ты себя чувствуешь?.. Тебе не холодно?» Ну кто поверит, что этой маленькой худенькой ручке в замшевой перчатке хватило сил и духу убить человека!

Спутники ее теперь тоже не кажутся ему столь кровожадными, как прежде. Они смеются от души, только у больного смех превращается в сдержанную, страдальческую улыбку, застывающую на его бескровных губах, а шумнее всех смеется Манилов: совсем еще юный, несмотря на свою клочковатую бороду, он резвится, как школьник на каникулах, временами на него нападает буйная веселость.

Третий спутник, по фамилии Болибин, беседовавший на козлах с итальянцем, тоже веселился напропалую; он поминутно оборачивался, чтобы перевести рассказы мнимого певца о его успехах

в петербургской опере, о его победах, о том, как по окончании гастролей поклонницы преподнесли ему запонки, на которых выгравированы три ноты: *la*, *do*, *re*, то есть *l'adore*[32]. Этот каламбур, без конца повторявшийся в ландо, развеселил всех, а тенор еще пуще заважничал и все покручивал ус, с таким дурацки победоносным видом поглядывая на Соню, что Тартарен невольно усомнился: да полно, уж не самые ли обыкновенные перед ним туристы и не самый ли это настоящий тенор?

Экипажи между тем мчались во весь опор, проезжали мосты, огибали озерца, катились мимо цветущих лугов, мимо прекрасных, омытых дождем и безлюдных садов; был воскресный день, и попадавшиеся навстречу крестьяне шли в праздничных одеждах, а женщины все были с длинными косами и все до одной надели на себя серебряные цепочки. Дорога, змеясь, начала подниматься в гору, между буковой и дубовой рощей. Слева с каждым поворотом все шире и все пленительнее открывался вид на реки и долины, где белели колокольни церквей, а вдали сверкала под лучами невидимого солнца снежная верши-

---

[32] Примечания: 32
обожаемый *(франц.)*

на Финстерааргорна.

Вскоре пошли места дикие и унылые. С одной стороны — глубокая тень, вкривь и вкось растущие по отлогому склону деревья, в чаще которых рокочет вспененный поток; справа — нависшая над дорогой громадная скала, ощетинившаяся ветками, торчащими из расселин.

В ландо никто уже не смеялся. Все, запрокинув головы, пытались разглядеть, где же кончается это гранитное ущелье.

— Ни дать ни взять леса Атласа!.. Ну, точь-в точь!.. — с важностью сказал Тартарен, но, видя, что на него никто не обращает внимания, добавил: — Вот только рычания львов не хватает.

— А вы слышали, как рычат львы? — спросила Соня.

Он да не слышал!..

— Я Тартарен из Тараскона, сударыня… — с мягкой и снисходительной улыбкой заявил Тартарен.

Экие варвары! Что Тартарен, что какой-нибудь там Дюпон — это им решительно все равно. Они даже имени такого никогда не слыхали.

Однако он не обиделся и на вопрос девушки, было ли ему страшно, когда рычали львы, ответил:

— Нет, сударыня… Мой верблюд дрожал подо

мной, как в лихорадке, а я осматривал курки так же спокойно, словно передо мной было стадо коров… На расстоянии это примерно звучит так… Вот!..

Чтобы дать Соне точное представление о том, как рычит лев, он самым густым своим басом издал грозное: «Р-р-р!..» — и, отраженное скалой, оно потом еще усилилось и раскатилось. Лошади взвились на дыбы. Во всех экипажах пассажиры в ужасе повскакали с мест, силясь понять, что же произошло, доискиваясь причины переполоха, а так как верх ландо был приподнят, то они сейчас же узнали альпиниста по его шлему и по его неумещающейся амуниции.

— Да что же это за скотина! — повторяли они.

А он, сохраняя полнейшее хладнокровие, продолжал подробно объяснять, как нужно нападать на льва, как нужно его добивать и снимать с него шкуру, как он приделал к своему карабину бриллиантовую мушку, чтобы вернее целиться ночью. Девушка, наклонившись к нему, слушала его очень внимательно, и ноздри ее чуть вздрагивали.

— Говорят, Бомбонель все еще охотится. Вы с ним знакомы? — спросил ее брат.

— Да, — без особого восторга ответил Тарта-

рен. — Он недурной охотник… Но у нас есть и получше.

Тонкий намек!

— Понятное дело, охота на крупных хищников сопряжена с сильными волнениями, — меланхолически продолжал он. — И когда их нет, то в душе образуется пустота, а чем ее заполнить — не знаешь.

Манилов понимал по-французски, хотя и не говорил; он слушал Тартарена с таким напряженным вниманием, что его мужицкий лоб прорезала крупная морщина, похожая скорее на рубец, потом засмеялся и что-то сказал своим друзьям.

— Манилов утверждает, что вы наш собрат, — пояснила Тартарену Соня. — Мы, как и вы, охотимся на крупных хищников.

— Ну да, правильно… На волков, на белых медведей.

— Да, на волков, на белых медведей и на других вредных животных.

Тут снова раздался смех, шумный, долго не смолкавший, но на сей раз язвительный и злобный, смех, обнажавший зубы и показывавший Тартарену, в каком дурном и опасном обществе он путешествует.

Экипаж неожиданно остановился. Подъем делался круче, и дорога в этом месте описывала большой круг вплоть до верхней точки Брюннигского перевала, куда, если двинуться прямиком по откосу, чудесной буковой рощей, можно дойти минут за двадцать. После утреннего дождя везде было скользко и мокро, но пассажиры, воспользовавшись прояснением, почти все вышли из экипажей и двинулись гуськом по узкой тропинке для санок.

Из ландо, в котором сидел Тартарен — а оно ехало позади всех, — мужчины вышли. Соне показалось, что уж очень грязно, и она предпочла остаться; когда же альпинист, слегка замешкавшись из-за своего снаряжения, стал после всех вылезать из ландо, она сказала ему вполголоса:

— Останьтесь со мной за компанию!..

При этом у нее был такой лукавый вид, что воображению бедного Тартарена, потрясенного до глубины души, тотчас представился прелестный, хотя и неправдоподобный роман, и его старое сердце учащенно забилось.

Однако его постигло разочарование: девушка, высунувшись из ландо, с тревогой следила за Болибиным и итальянцем, о чем-то оживленно беседовавшими на самом краю санной тропинки,

меж тем как Манилов и Борис уже стали по ней взбираться.

Мнимый тенор, видимо, колебался. Он инстинктивно чувствовал, что ему опасно оставаться одному в обществе этих трех мужчин. Наконец он решился, и Соня долго смотрела ему вслед, водя по своей пухлой щечке букетом лиловых цикламенов, этих горных фиалок, темные листья которых оттеняют яркость цветка.

Лошади шли шагом, кучер слез с козел и шел впереди со своими товарищами, все пятнадцать экипажей, наезжавших один на другой из-за крутизны подъема, двигались порожняком, в полной тишине. Тартарен, крайне взволнованный, предчувствуя что-то недоброе, не смел поднять глаза на свою соседку, — он боялся, что из-за одного какого-нибудь слова или взгляда станет если не главным, то, во всяком случае, второстепенным действующим лицом драмы, которая, казалось ему, должна вот-вот разыграться. Но Соня не обращала на него внимания, взгляд у нее был отсутствующий, и она все еще рассеянно гладила фиалками свою покрытую легким пушком щеку.

— Итак, — заговорила она после долгого молчания, — теперь вы знаете, кто мы, я и мои друзья… Что же вы о нас думаете? Что думают о нас фран-

цузы?

Тартарен то краснел, то бледнел. Он боялся каким-нибудь неосторожным словом вооружить против себя столь мстительных людей. А с другой стороны, как можно вступать в союз с убийцами? Поэтому он заговорил иносказательно:

— Сударыня! Вот вы мне только что заявили; охотники на гидр и на чудищ, на деспотов и на хищников — это-де собратья. Я же вам на это отвечу, как ответил бы член братства святого Губерта…[33] Я лично держусь того мнения, что и против диких зверей надлежит пользоваться лишь узаконенным оружием… Жюль Жерар, наш знаменитый охотник на львов, применял разрывные пули… Я этого не одобряю, я никогда так не поступал… На льва и на пантеру я хаживал с добрым двуствольным карабином, становился прямо против зверя, и — бах! бах! — по пуле в каждом глазу.

— В каждом глазу!.. — воскликнула Соня.

— Я ни разу не промахнулся.

Он глубоко верил в то, что говорил.

Девушка посмотрела на него с наивным восторгом и вслух подумала:

---

[33] Примечания: 33

Т.е. охотник. Святой Губерт считался покровителем охоты.

— Лучше всего действовать наверняка.

Внезапно захрустели ветки, наверху зашевелился кустарник, кем-то раздвигаемый так быстро и ловко, что Тартарен, у которого все мысли были заняты охотничьими приключениями, тотчас вообразил, будто он в Заккаре караулит зверя. С обрыва бесшумно спрыгнул Манилов и очутился возле самого экипажа. На его исцарапанном колючками лице сверкали маленькие глазки, окруженные сетью морщин, с бороды и всклокоченных волос стекала вода, которой его обрызгал кустарник. Тяжело дыша, ухватившись короткими, толстыми, волосатыми руками за ручку дверцы, он сказал что-то по-русски Соне, и та живо обратилась к Тартарену:

— Веревку!.. Скорей!..

— Ве-веревку?.. — пролепетал герой.

— Скорей, скорей!.. Вам ее вернут.

Без дальних слов она своими изящными пальчиками, затянутыми в перчатки, помогла ему отцепить знаменитую веревку, изготовленную в Авиньоне. Манилов, радостно захрюкав, схватил всю связку и с гибкостью дикой кошки в три прыжка скрылся в чаще кустарника.

— Что там такое?.. Что они затевают?.. У него такой свирепый вид... — бормотал Тартарен, не

решаясь прямо высказать свою мысль.

Манилов — и свирепость! Ах, как плохо он его знает! Лучше, мягче, отзывчивее человека в целом свете не сыщешь. И тут Соня, глядя на Тартарена своими ясными синими глазами, рассказала один эпизод, по ее мнению, характерный для этой исключительной натуры: однажды ее друг, выполняя опасное поручение Революционного комитета, вскочил в сани, в которых он должен был мчаться от погони, и сейчас же пригрозил кучеру, что выпрыгнет из саней, если тот будет бить и погонять лошадь, а между тем от быстроты ее бега зависело его спасение.

Тартарен нашел, что это черта истинно античная. Затем, подумав о том, сколько людей пострадало из-за Манилова, неповинного в этих жертвах, как неповинны бывают в своих жертвах землетрясение или вулкан, из-за Манилова, который вместе с тем не мог допустить, чтобы в его присутствии мучили животное, альпинист по простоте душевной спросил девушку:

— А что, при взрыве в Зимнем дворце много погибло народу?

— Очень много, — печально ответила Соня. — А тот человек, которого нужно было уничтожить, уцелел.

И тут она с сокрушенным видом умолкла. Она опустила голову, ее длинные золотистые ресницы касались бледно-розовых щек — в эту минуту она была как-то особенно хороша. Плененный красотою молодости, той свежестью, какой дышала эта странная девочка, Тартарен пожалел, что навел Соню на грустные мысли.

— Борьба, которую мы ведем, наверно, кажется вам жестокой, бесчеловечной?

Она произнесла эти слова, наклонившись к нему, лаская его своим дыханием и взглядом. И герой наш заколебался…

— Если народ угнетают, если народ душат и необходимо его освободить, то всякое оружие хорошо и законно, ведь правда?..

— Разумеется, разумеется…

По мере того как Тартарен отступал, девушка становилась все настойчивее:

— Вы мне говорили о том, что надо чем-то заполнить душевную пустоту. Не кажется ли вам, что гораздо благороднее и интереснее пожертвовать своей жизнью ради великого дела, чем рисковать ею ради того, чтобы убить льва или взлезть на ледник?

— В самом деле… — увлекшись и совсем потеряв голову, пробормотал Тартарен, снедаемый

бешеным, неодолимым желанием поцеловать маленькую горячую руку, которую Соня для большей убедительности положила ему на плечо совершенно так же, как ночью на «Риги-Кульм», когда он нашел ее туфлю. Наконец он не выдержал и взял эту руку, которую облегала перчатка, в свои. — Послушайте, Соня, — заговорил он своим добродушным басом, в котором теперь звучали отеческие и интимные нотки, — послушайте, Соня…

Его прервала неожиданная остановка ландо. То была вершина Брюннигского перевала. Пассажиры и кучера спешили к экипажам — всем хотелось наверстать время и как можно скорее добраться до ближайшего селения, где предстояло позавтракать и переменить лошадей. Трое русских заняли свои места, место итальянца пустовало.

— Он сел в один из передних экипажей, — ответил на вопрос кучера Борис и обратился к Тартарену, который был явно встревожен: — Надо будет взять у него вашу веревку. Он унес ее с собой.

Тут в ландо снова раздался хохот, а храбрый Тартарен по-прежнему пребывал в мучительном неведении; он не знал, чему же верить и что же

думать об этих убийцах, которые так веселятся и у которых такой невинный вид. Укутывая больного плащами и пледами, так как теперь от быстрой езды стало еще холоднее, Соня переводила на русский язык свой разговор с Тартареном; особенно мило выходило у нее это: «Бах! Бах!», — которое спутники потом повторяли за ней, восхищаясь героем, и только Манилов недоверчиво покачивал головой.

Станция!

Посреди большого села на площади стоит старый трактир с прогнившим деревянным балконом и с проржавленной вывеской. Здесь останавливается вереница экипажей, и, пока выпрягают лошадей, проголодавшиеся путешественники стремглав несутся к трактиру и набиваются в выкрашенную зеленой краской и пахнущую сыростью залу на втором этаже, где стол бывает накрыт не больше чем на двадцать персон. А наехало шестьдесят, и вот отчего минут пять продолжается невообразимая толкотня, раздаются крики, вокруг соусников идет яростная перебранка между рисолюбами и черносливцами — к великому ужасу хозяина, который, хотя почтовые дилижансы всегда прибывают вовремя и пора бы, кажется, к этому привыкнуть, сам уже

сбился с ног и загонял служанок, а служанки тоже всегда мечутся как угорелые, им вся эта сутолока на руку: можно подавать только половину блюд, обозначенных на карте, можно давать какую угодно сдачу, так, чтобы швейцарские беленькие су сходили за пятьдесят сантимов.

Соне эта бестолочь надоела.

— Не позавтракать ли нам в экипаже?.. — предлагает она.

Молодые люди сами идут раздобывать кушанья: прислуге не до них. Манилов возвращается, потрясая холодной бараньей ножкой. Болибин несет хлеб и сосиски, однако наилучшим провиантмейстером оказался Тартарен. Собственно говоря, ему представлялся удобный случай, воспользовавшись суматохой, улизнуть от своих спутников или, во всяком случае, разузнать про итальянца, но он об этом и не подумал — теперь его занимает одна мысль: как он будет завтракать с «малюткой» и как он покажет Манилову и другим, на что способен расторопный тарасконец.

Когда он, храня сосредоточенный и важный вид, сходит с крыльца, держа в своих могучих руках большой поднос с тарелками, салфетками, изысканными кушаньями и швейцарским шампанским с золотой головкой, Соня хлопает в

ладоши и выражает ему свое восхищение:

— Как же это вам удалось?

— Сам не знаю… Так как-то!.. Мы, тарасконцы, народ дошлый.

О, блаженные минуты! На всю жизнь запомнится нашему герою этот милый завтрак почти что на Сониных коленях, — завтрак, фоном которому служит опереточная декорация: сельская площадь, деревья, рассаженные в шахматном порядке, а под их сенью поблескивают позолота и шелк прогуливающихся парами, разряженных, как куклы, швейцарок.

Какой вкусный хлеб, какие сочные сосиски! Само небо словно улыбается сотрапезникам, — оно такое приветливое, доброе, неяркое! Дождь, конечно, идет, но чуть-чуть, и моросит-то он, кажется, только для того, чтобы разбавить швейцарское шампанское, небезопасное для головы южанина.

Подле веранды пристроился тирольский квартет: два великана и два карлика в тяжелых и ярких лохмотьях, словно оставшихся у них от распродажи прогоревшего ярмарочного балагана, орут что есть мочи, и голоса их сливаются со звоном тарелок и стаканов. Они уродливы, глупы, неповоротливы, их тощие шеи вытягива-

ются от напряжения. Но Тартарен в восторге, — к великому изумлению сельчан, обступивших распряженное ландо, он швыряет певцам пригоршнями мелочь.

— *Та страствует Вранция*! — слышится чей-то дрожащий голос.

Из толпы выходит высокий старик в каком-то необыкновенном голубом мундире с серебряными пуговицами и фалдами до пят, в гигантском кивере, похожем на кадку для кислой капусты, и под тяжестью этого кивера с высоким султаном старик идет, балансируя руками, точно канатный плясун.

— *Старий зольтат… королевской квартии. Карль Тесьятий…*

А тарасконец, в чьей памяти еще живы рассказы Бомпара, хохочет, подмигивает старику и говорит вполголоса:

— Слыхали мы это, старина…

Но все же дает ему серебряную монету и наливает полный стакан вина; старик берет его и тоже подмигивает и смеется, хотя сам не знает чему. Затем, вынув из угла рта огромную фарфоровую трубку, поднимает стакан и пьет «за успехи Компании», и это окончательно утверждает Тартарена в мысли, что перед ним сослуживец

Бомпара.

Э, да не все ли равно, за что пить!

Стоя в ландо, Тартарен высоко поднимает стакан и со слезами на глазах громогласно провозглашает тост сперва «за Францию, за родину...», потом за гостеприимную Швейцарию и говорит, что он счастлив отдать ей должное и во всеуслышание выразить благодарность за радушный прием, оказываемый ею всем побежденным, всем изгнанникам. Затем обращается к своим спутникам и, понизив голос, желает им поскорее вернуться домой, свидеться с дорогими родителями, с верными друзьями, желает им отличиться на славном поприще, желает скорейшего окончания междоусобицы, — нельзя же, мол, так мучиться всю жизнь!

Пока он произносит тост, глаза Сониного брата насмешливо и холодно улыбаются за дымчатыми стеклами очков. Манилов вытянул шею, сдвинул свои насупленные брови, и на лице у него написано: скоро ли этот толстый барин перестанет болтать? А Болибин, похожий на маленькую уродливую обезьянку, вскарабкавшуюся на плечи к тарасконцу, сидит на козлах и строит рожи, отчего его измятое, желтое, как у татарина, лицо становится еще смешнее.

Одна только Соня слушает Тартарена вполне серьезно, силясь понять, что же это за странный тип. Думает ли он о том, что говорит? Соответствуют ли истине его рассказы о себе? Сумасшедший ли он, комедиант или просто болтун, как уверяет Манилов, у которого слово с делом не расходится и в устах которого определение «болтун» приобретает особенно обидный смысл?

Разгадка близка. Провозгласив тост, Тартарен садится, но тут вдруг раздается выстрел, за ним другой, третий, где-то совсем близко, и герой наш в сильном волнении вскакивает, навастривает уши, встревоженно нюхает воздух.

— Кто стрелял?.. Где это?.. Что случилось?..

Этот фантазер мысленно сочиняет целую драму: вооруженное нападение на экипажи, удобный случай защитить жизнь и честь прелестной девушки. Да нет, выстрелы гремели просто-напросто в *Stand'e*[34], где сельская молодежь каждое воскресенье стреляет по мишеням. Лошадей еще не запрягли, и Тартарен, как ни в чем не бывало, предлагает спутникам пойти посмотреть стрельбище. У него свои соображения, у Сони, согласившейся с ним пойти, свои.

---

[34] Примечания: 34
балагане *(нем.)*

Предводительствуемые старым королевским гвардейцем, качающимся из стороны в сторону под своим громадным кивером, они переходят площадь, за ними следует толпа любопытных.

Этот крытый соломой «штанд» на четырехугольных столбах из свежеоструганной ели напоминает наш самый что ни на есть деревенский ярмарочный тир, с тою лишь разницей, что сюда любители приходят со своим оружием — шомполками старой системы и что стрелки они довольно меткие. Сложив руки на груди, Тартарен оценивает выстрелы, громко делает замечания, дает советы, но сам не стреляет. Русские наблюдают за ним и подают друг другу знаки.

— Бах!.. Бах!.. — передразнивает его повадку и его тарасконский акцент Болибин.

Тартарен оборачивается, он покраснел, внутри у него все кипит.

— За мной дело не станет, молодой *челвэк*... Бах-бах так бах-бах... Сколько вам будет угодно!

Зарядить старый двуствольный карабин, который, по всей вероятности, служил не одному поколению охотников на серн, недолго: бах!.. бах!.. — и готово дело. Обе пули попадают куда нужно. Со всех сторон восторженные крики. Соня торжествует, Болибин уже не смеется.

— Это еще что, — говорит Тартарен, — вот я вам сейчас покажу…

«Штанда» ему уже недостаточно, он ищет цель, он должен что-нибудь сокрушить, толпа в ужасе шарахается от этого небывалого альпиниста, коренастого, свирепого, с карабином в руке, заявляющего старому королевскому гвардейцу, что он сейчас на расстоянии пятидесяти шагов разобьет у него в зубах трубку. Старик с дикими воплями скрывается в толпе, и только его султан дрожит мелкой дрожью над головами теснящихся сельчан. Однако Тартарену непременно надо всадить во что-нибудь пулю.

— А ну-ка, прах его возьми, по-тарасконски!..

И с этими словами матерый стрелок по фуражкам изо всех сил напрягает свои двойные мускулы, подбрасывает головной убор, бьет по нему влет и пробивает.

— Браво! — кричит Соня и просовывает в дырочку, проделанную пулей в суконной фуражке, букет горных фиалок, которым она еще недавно поглаживала себе щеку.

С этим прелестным трофеем Тартарен садится в ландо. Гудит рожок, экипажи трогаются, лошади мчатся во весь дух по так называемому Бриенцскому спуску — по прекрасной дороге, пробитой в

скалах в виде карниза и отделенной от пропасти глубиной больше чем в тысячу футов всего лишь тумбочками, стоящими в двух метрах одна от другой. Но Тартарен уже не замечает опасности и не наслаждается окрестными видами, не смотрит на Мейрингенскую долину, над которой вьется светлый пар, на реку с ровными берегами, на озеро, на селения, лепящиеся одно к другому вдали, на горы, заслоняющие горизонт, на ледники, которые порой сливаются с облаками и при каждом повороте переставляются вокруг дороги, как декорация: то удаляются, то открываются взору.

Преисполненный нежных чувств, герой наш любуется прелестной малюткой, сидящей напротив него, и думает, что слава — это лишь призрак счастья, что грустно доживать век одинокому в своем величии, как Моисей, что этот хрупкий северный цветок, пересаженный в тарасконский садик, оживил бы однообразную жизнь его владельца и что цветок этот несравненно прекраснее и благоуханнее вечнозеленого баобаба, arbos'a gigantea в горшочке. А Соня смотрит на Тартарена своими детскими глазами, хмурит свой высокий, задумчивый и упрямый лоб и о чем-то мечтает. Но кто может угадать, о чем мечтают девушки?

VII

Тарасконские вечера. Где он? Недоумение. Цикады на Городском кругу зовут Тартарена домой. Муки тарасконского страстотерпца. Клуб альпинцев. Что произошло в аптеке. Ко мне, Безюке!

— Вам письмо, господин Безюке!.. Из Швейцарии, да!.. Из Швейцарии! — на склоне дня весело кричал почтальон, быстрым шагом направляясь к аптекарю с противоположного конца Малой площади и размахивая чем-то в воздухе.

Безюке, сидевший в одной жилетке возле своего дома и дышавший свежим воздухом, вскочил, выхватил из рук почтальона письмо и унес в свое святилище, насквозь пропитанное смешанным запахом эликсиров и сушеных трав, но не распечатал до тех пор, пока не ушел почтальон, которого он в награду за добрую весть угостил и подкрепил стаканчиком чудного мертвецкого сиропа.

Целых две недели ждал Безюке этого письма из Швейцарии, целых две недели он изнывал от

нетерпения! Наконец-то оно пришло! И как только Безюке увидел мелкий, убористый, но твердый почерк на конверте, увидел название почтовой конторы «Интерлакен» и большой фиолетовый штемпель «Отель Юнгфрау, содержатель Мейер», из глаз у него брызнули слезы, а его усищи, как у берберийского корсара, задрожали, и сквозь них просочился легкий добродушно-ребячий посвист.

«КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ПРОЧИТАВ, УНИЧТОЖИТЬ».

Слова эти, выведенные огромными буквами в начале страницы, этот телеграфно-аптекарский стиль (что-то вроде: «Наружное. Перед употреблением взбалтывать») так взволновали аптекаря, что он стал читать письмо вслух таким голосом, каким говорят в бреду:

«Со мной случилось нечто ужасное…»

Но в соседней комнате его могла услышать г-жа Безюке, дремавшая после ужина, мог услышать и ученик, мерными ударами пестика что-то толокший в лаборатории. Понизив голос, Безюке несколько раз прочитал письмо, и лицо его

покрылось смертельной бледностью, а волосы в буквальном смысле слова встали дыбом. Он оглянулся по сторонам — трах!.. трах!.. — письмо в мелкие клочья и скорей в корзину! Да, но ведь обрывки могут найти и сложить. Безюке лезет за ними под стол, но в эту минуту его окликает старчески дрожащий голос:

— Э, Фердинанд, это ты?

— Я, маменька… — отвечает несчастный корсар и от ужаса всем своим мощным телом застывает на четвереньках под столом.

— Что ты там делаешь, сокровище мое?

— Что делаю?.. М-м… Готовлю глазные капли для мадемуазель Турнатуар.

Маменька вновь погружается в дремоту, а пестик ученика, на минуту притихший, возобновляет свои медлительные удары и, подобно ходу маятника, убаюкивает и дом и Малую площадь, сомлевшие в духоте летнего вечера. А Безюке ходит большими шагами перед аптекой, и лицо его то розовеет, то зеленеет, в зависимости от того, мимо какого шара лежит сейчас его путь. Он размахивает руками, бормочет бессвязные слова: «Несчастный… погиб… роковая любовь… Как его вызволить?» — но, несмотря на расстройство чувств, он все же провожает веселым свистом

драгун, которые, возвращаясь с ученья, исчезают под сенью платанов Городского круга.

— А, здравствуйте, Безюке!.. — окликает его вынырнувшая из пепельно-серого сумрака чья-то спешащая тень.

— Куда это вы, Пегулад?

— Да в Клуб, куда же еще!.. На вечернее заседание… Насчет Тартарена и насчет выборов президента… Вам тоже надо пойти.

— Ну да, ну да, я приду!.. — отвечает аптекарь, которого внезапно озаряет гениальная мысль.

Он возвращается домой, надевает сюртук и ощупывает карманы, чтобы удостовериться, здесь ли ключ от входной двери и американский кастет, без которого ни один тарасконец не отважится выйти на улицу после того, как пробили зорю. Потом зовет: «Паскалон!.. Паскалон!..» — зовет тихонько, чтобы не разбудить старушку.

С восторженной душой фанатика, с низким лбом, с глазами как у бешеной козы, с пухлыми щечками, на которых играл нежный золотистый румянец, словно на поджаристых бокерских булочках, аптекарский ученик Паскалон был еще совсем юн и уже лыс, точно вся полагавшаяся ему растительность пошла на его курчавую рыжеватую бороду. В дни больших альпийских

празднеств Клуб неизменно поручал ему нести знамя, и оттого П.К.А. внушал юнцу страстную любовь, пламенное, хотя и безмолвное благоговение — благоговение свечи, горящей пред алтарем на Пасху.

— Паскалон! — шепотом сказал аптекарь, кончиком уса щекоча ему ухо. — Я получил известие от Тартарена… Известие тревожное…

Ученик побледнел.

— Успокойся, дитя мое, — может, еще все обойдется… Аптеку я, понимаешь ли, оставляю на тебя… Если спросят мышьяку — не давай, опиума тоже, ревеню тоже… Ничего не давай. Если я к десяти часам не вернусь, закрой ставни и ложись. Вот так!

Безюке двинулся решительным шагом и, ни разу не обернувшись, растворился во тьме, объявшей Городской круг, а Паскалон сейчас же бросился к корзине посмотреть, нет ли там обрывков таинственного письма, которое принес почтальон, жадными дрожащими руками стал в ней рыться и наконец вывалил все ее содержимое на конторку.

Кто знает, как быстро возбуждаются тарасконцы, тот легко себе представит переполох, начавшийся в городе после внезапного исчез-

новения Тартарена. Ах, ах, ах, э-эх, ну что ты скажешь, — тарасконцы совсем потеряли голову, тем более что дело было в августе и от жары у них едва не трескались черепа и не вываливались мозги! С утра до вечера в городе только об этом и говорили, имя «Тартарен» беспрестанно слетало и с поджатых губ почтенных дам в чепцах, и с накрашенных губ гризеток с бархатками в волосах: «Тартарен, Тартарен...» — а на Городском кругу под сенью отягченных белой пылью платанов ошалелые цикады, стрекоча в дрожащем от зноя воздухе, словно давились двумя звучными слогами; «Тар-тар... Тар-тар...»

Толком никто ничего не знал, а потому, разумеется, каждый располагал точными сведениями и подробно объяснял, куда и зачем уехал президент. Слухи ходили самые невероятные. По одной версии, он поступил в монастырь к траппистам, по другой — увез Дюгазон[35], по третьей — переселился на необитаемый остров, чтобы основать колонию под названием «Порт-Тараскон», по четвертой — путешествует по Центральной Африке и разыскивает Ливингстона.

---

[35] Примечания: 35

Дюгазон Роза (1755-1821) — знаменитая певица, выступавшая в Комической опере в Париже. Ее имя передается по наследству актрисам этого театра, с успехом исполнившим роли, в которых блистала Дюгазон.

— А, да ну, Ливингстона!.. Ливингстон два года тому назад умер…

Но тарасконское воображение ни с временем, ни с пространством не считается. И вот что любопытно: россказни о траппистах, колониях, дальних путешествиях — то были идеи самого Тартарена, мечты этого вечно бодрствующего сонливца, которыми он в свое время поделился с друзьями, и вот теперь друзья буквально не знали, на что подумать; тая обиду на Тартарена за то, что он не посвятил их в свои замыслы, они в присутствии посторонних напускали на себя крайнюю сдержанность и с видом заговорщиков многозначительно переглядывались. Экскурбаньес подозревал, что обо всем осведомлен Бравида, а Бравида говорил:

— Аптекарю, наверное, все известно. Недаром он глядит в сторону, как собака, стащившая кость.

По правде сказать, тайна сия была для аптекаря власяницей — она причиняла ему страшные мучения, он испытывал нестерпимый зуд, то краснел, то бледнел и беспрестанно косил глазами. Вспомните, что несчастный был тарасконец, и теперь скажите, найдется ли во всем мартирологе более страшная пытка, нежели муки

святого Безюке, знавшего нечто и вынужденного молчать.

Вот почему в тот вечер, несмотря на ужасающее известие, он шел на заседание бодрым шагом человека, которому вдруг на душе стало легче… *Накнэц-то!* Теперь он может говорить, может поделиться, может рассказать о том, что его так тяготило! И, торопясь избавиться от гнета, он на ходу бросал полунамеки гулявшим на Городском кругу. День выстоял жаркий, и теперь, хотя время было позднее — часы ратуши показывали без четверти восемь и в темноте становилось жутковато, — народ высыпал на улицы; обыватели, пока их дома проветривались, сидели на лавочках и дышали воздухом, ткачихи, разгуливавшие впятером, а то и вшестером и державшиеся за руки, накатывались на встречных волнами болтовни и смеха. И всюду разговор шел о Тартарене. Аптекаря останавливали по дороге и спрашивали:

— Ну что, господин Безюке, писем все нет?..

— Есть, друзья мои, есть… Прочтите завтрашний «Форум»…

Он прибавил шагу, но обыватели шли за ним, привязывались к нему, и на всем Городском кругу стоял шум голосов и топот ног, пока наконец

человечье стадо не остановилось перед большими, ярко освещенными квадратами открытых окон Клуба.

Заседания происходили в той зале, где прежде играли в буйотту, а длинный стол, покрытый тем же самым зеленым сукном, был теперь столом канцелярским. В самом центре возвышалось президентское кресло с вышитыми на спинке буквами: ***П.К.А.***, а сбоку стоял стул секретаря. Сзади висело развернутое знамя Клуба, а под ним — широкая глянцевитая карта, на которой были нанесены Альпины с обозначением их названий и высот. По углам стояли стоймя, точно биллиардные кии, почетные альпенштоки, отделанные слоновой костью, а на витрине были выставлены редкости, найденные в горах: кристаллы, кремни, окаменелости, два морских ежа и саламандра.

За отсутствием Тартарена в президентском кресле восседал помолодевший, сияющий Костекальд. Стул полагался Экскурбаньесу, исполнявшему обязанности секретаря, но этот лохматый, волосатый, бородатый непоседа испытывал неодолимую потребность шуметь и суетиться и никак не мог усидеть на месте. По всякому поводу он махал руками, топал ногами, устрашающе рычал; неистовый, дикий восторг выражался у

него в криках: «Хо-хо-хо!» — переходивших затем в грозный воинственный клич на тарасконском наречии: «*Двайте шумэть*!.. Давайте шуметь!..» За медную глотку, от которой у вас лопались барабанные перепонки, Экскурбаньеса прозвали «Гонгом».

Вокруг на волосяных диванах сидели члены президиума.

На самом видном месте — каптенармус в отставке Бравида, которого весь Тараскон называл «командиром»; этот коротышка, чистюля стремился за свой маленький ростик, придававший ему сходство с кадетиком, вознаградить себя тем, что отпускал усы, как у Верцингеторикса[36], отчего лицо его приобретало мрачное выражение.

Затем — узкое, худое, изможденное лицо податного инспектора Пегулада, последнего, кто спасся во время гибели «Медузы»[37]. В Тарасконе

---

[36] Примечания: 36

Верцингеторикс (умер в 46 г. до н.э.) — предводитель восстания галлов против римлян, разбитый Цезарем и казненный в Риме. Его внешность нам неизвестна, но на памятнике (1865 г.) скульптор Милле изобразил его усатым.

[37] Примечания: 37

«Медуза» — французский корабль, потерпевший крушение 2 июля 1817 года по пути в Сенегал. Пассажиры и экипаж пытались спастись на огромном плоту, на котором они двенадцать дней носились по морю без пищи и воды. Когда бриг «Аргус» подобрал плот, из ста сорока девяти человек в живых осталось двенадцать.

никогда не переводились последние спасенные пассажиры «Медузы». Одно время таких было даже трое, но они обвиняли друг дружку в самозванстве и нигде не появлялись вместе. Из всех троих единственным настоящим был Пегулад. Он вместе со своими родителями потерпел крушение на «Медузе», будучи полугодовалым младенцем, что не мешало ему описывать *de visu*[38] во всех подробностях голод, шлюпки, плоты и рассказывать о том, как он схватил капитана за горло и крикнул: «В рубку, подлец!..» И это полугодовалый младенец! А, чтоб!.. Впрочем, он всем смертельно надоел этой историей, за пятьдесят лет все уже выучили ее наизусть, всем она набила оскомину, но она давала ему право ходить с унылым и безучастным видом: «После того, что мне пришлось испытать...» — говорил он, и говорил зря, так как именно этому обстоятельству он был обязан тем, что при всех режимах ему удавалось сохранить за собой должность податного инспектора.

Рядом с ним сидели братья Роньонас, шестидесятилетние близнецы, никогда не расставшиеся, вечно ссорившиеся и говорившие друг про

---

[38] Примечания: 38
в качестве очевидца *(лат.)*

друга чудовищные вещи. Их старые, облезлые, неправильной формы головы, одна от другой постоянно отворачивавшиеся, были до того похожи, что их можно было вычеканить на медали в виде двуликого Януса[39].

А там дальше — председатель суда Бедарид, адвокат Баржавель, нотариус Камбалалет и страшный доктор Турнатуар, о котором Бравида говорил, что он готов пустить кровь даже репе.

Зала освещалась газом, поэтому здесь было особенно жарко, и члены президиума заседали без сюртуков, отчего вся обстановка приобретала значительно менее торжественный характер. Впрочем, заседание происходило при закрытых дверях, каковым обстоятельством решил воспользоваться вероломный Костекальд, чтобы возможно скорее, не дожидаясь возвращения Тартарена, назначить день выборов. Уверенный в победе, он ликовал заранее, и как только Экскурбаньес огласил повестку дня, интриган сейчас же вскочил, и его тонкие губы искривила злорадная усмешка.

— Бойся того, кто улыбается, еще не начав говорить, — пробормотал командир.

---

[39] Примечания: 39

Двуликий Янус — бот дверей у древних римлян; его изображали с двумя лицами, обращенными в разные стороны.

Костекальд, сделав вид, что не слышит, подмигнул своему закадычному другу Турнатуару и желчным тоном заговорил:

— Господа! Наш президент ведет себя по меньшей мере странно, мы ничего о нем не знаем…

— Неправда!.. Президент прислал письмо…

Безюке, весь дрожа, шагнул к столу, однако, поняв, что нарушает порядок, сейчас же изменил тон и, подняв руку, как в таких случаях полагалось, попросил слова для внеочередного сообщения.

— Говорите! Говорите!

Костекальд сразу весь пожелтел, поперхнулся и кивком головы предоставил слово аптекарю. После этого, только после этого, Безюке заговорил:

— Тартарен у подошвы Юнгфрау… Он собирается взойти… Он просит знамя Клуба!..

Мгновенно воцарившуюся тишину нарушало лишь прерывистое дыхание заседавших да потрескиванье газа. Потом вдруг раздалось оглушительное «ура!», все закричали: «Браво!» — затопали ногами, но все это покрывал «гонг» Экскурбаньеса, издававшего воинственный клич: «Хо-хо-хо! *Двайте шумэт*ь!» — а снаружи ему вторила возбужденная толпа.

Костекальд все желтел и желтел и отчаянно

звонил в президентский колокольчик. Наконец Безюке, вытирая потный лоб и тяжело дыша, как будто он только что взбежал на шестой этаж, заговорил снова.

Неужели все-таки знамя Клуба, которое президент намерен водрузить на девственных вершинах, завяжут, упакуют в пошлют большой скоростью, как простой тюк?

— Ни за что!.. Хо-хо-хо!.. — ревел Экскурбаньес.

Не лучше ли направить к президенту депутацию в составе трех членов президиума — тех, кому выпадет жребий?..

Аптекарю не дали договорить. Единодушным «ух ты!» предложение Безюке было принято и одобрено, и билетики были вытащены в следующем порядке: 1) Бравида, 2) Пегулад, 3) аптекарь.

Второй номер отказался. Длительное путешествие пугало его: увы! после бедствия, которое он потерпел на «Медузе», он все никак не мог оправиться и чувствовал себя неважно.

— Я поеду вместо вас, Пегулад!.. — сразу весь придя в движение, рявкнул Экскурбаньес.

Ну, а Безюке не может оставить аптеку. В его руках здоровье всего Тараскона. Малейшая оплошность ученика — и один смертельный исход за другим!

— А, чтоб!.. — воскликнули члены президиума и все, как один, встали со своих мест.

Аптекарю ехать нельзя, это ясно, но он пошлет Паскалона, Паскалону можно доверить знамя — это для него дело привычное! Тут новая буря восторга и новый удар «гонга», а на Городском кругу толпа взревела так, что Экскурбаньес высунулся в окно и своим бесподобным голосом тотчас покрыл этот рев:

— Друзья мои, Тартарен нашелся! Он на пути к славе!

Он успел еще прибавить: «Да здравствует Тартарен!» — и во все горло прокричать свой воинственный клич, а затем ему оставалось лишь наслаждаться диким ревом неясно различимой, колыхавшейся и бурлившей в облаке пыли огромной толпы, осеняемой ветвями деревьев Городского круга, с которых неслось оглушительное тремоло цикад, трещавших, словно белым днем, в свои маленькие трещоточки.

Костекальд вместе со всеми членами президиума стоял у окна и все это слышал, и вдруг он, пошатываясь, двинулся назад, к креслу.

— Эй, глянь!.. Что это с Костекальдом?.. — заметил кто-то. — Какой он желтый!

Все бросились к нему. Страшный доктор Тур-

натуар вытащил было сумку, где у него лежали инструменты, но оружейник с искаженным от боли лицом чистосердечно признался:

— Ничего… Ничего… Не надо… Я знаю, что со мной… Это зависть!

Бедный Костекальд! Должно быть, он очень страдал.

А в это самое время на другом конце Городского круга, в аптеке на Малой площади, ученик аптекаря, сидя за хозяйской конторкой, терпеливо собирал и складывал обрывки письма, которые Безюке забыл извлечь из корзины. Многих клочков не хватало, и оттого необыкновенное послание, загадочное и зловещее, напоминавшее карту Центральной Африки с белыми пятнами, с надписями *terra incognita*[40], как ни старалось встревоженное воображение наивного знаменосца добраться до его смысла, выглядело таким образом:

… люблю безумно спиртов… чикагские… консервы не… могу… вырв… нигилист казни… условия… ужасн… ради ее… Вы меня знаете,… Ферди знаете мой либеральный образ мыслей, но отсюда до цареубийства

---

[40] Примечания: 40
неизвестная земля *(лат.)*

... трашные последствия
Сибирь.... виселица.... обожаю
... Ах! жму... твою.. верную ру
Тар Тар...

VIII

Достопамятный разговор Юнгфрау с Тартареном. В гостиной у нигилистов. Дуэль на охотничьих ножах. Страшный сон. «Вы ко мне, господа?» Необычный прием, оказанный тарасконской депутации содержателем отеля Мейером

Как все шикарные отели Интерлакена, мейеровский отель «Юнгфрау» находится на Хоэвег — широком проспекте, обсаженном двумя рядами ореховых деревьев и отдаленно напоминавшем Тартарену милый его сердцу Городской круг, но только на проспекте не было ни солнца, ни пыли, ни цикад — дождь лил целую неделю не переставая.

Тартарен занимал на втором этаже прекрасную комнату с балконом. По утрам, когда Тартарен по старой привычке, которой он придерживался в путешествиях, брился перед зеркальцем, прикрепленным к оконной ручке, первое, что поверх нив и лугов, поверх ельника, поверх амфитеатра сумрачных лесистых гор бросалось

ему в глаза, — это Юнгфрау, возносившая над облаками свою покрытую снегом девственной белизны рогоподобную вершину, на которой всегда задерживался мимоходом луч невидимой утренней зари. И тогда между бело-розовой альпийской вершиной и тарасконским альпинистом происходил краткий, однако не лишенный значительности разговор.

— Скоро ли, Тартарен? — строго спрашивала Юнгфрау.

— Сейчас, сейчас… — приподняв большим пальцем кончик носа и поспешно добриваясь, отвечал герой.

Затем он второпях надевал клетчатый костюм альпиниста, уже несколько дней праздно висевший на вешалке.

— Ах, я разэтакий такой! — ругал он себя. — Этому нет названия…

Но тут снизу, сквозь зелень мирт, заглядывавших в окна второго этажа, до него доносился негромкий, но внятный голос.

— Здравствуйте!.. — увидев его на балконе, говорила Соня. — Ландо подано… Да ну скорее, ленивец!..

— Иду, иду…

В одну минуту грубая шерстяная рубашка

заменялась тонким крахмальным бельем, а альпинистские никер-бокеры[41] — зеленой со стальным отливом курткой, от которой, бывало, на воскресных музыкальных вечерах сходили с ума тарасконские дамы.

Лошади били копытами землю, а в ландо уже сидели Соня и ее больной брат, который день ото дня худел и бледнел, несмотря на здоровый климат Интерлакена. Но в самый момент отъезда с бульварной скамейки неизменно вставали и, грузно раскачиваясь, точно горные медведи, направлялись к экипажу два знаменитых гриндельвальдских проводника — Рудольф Кауфман и Христиан Инебнит, с которыми он сговорился о подъеме на Юнгфрау и которые каждое утро приходили справляться, когда ему будет угодно начать восхождение.

Эти два проводника в грубых башмаках с подковами, во фланелевых куртках, протертых на спине и плечах мешком и веревками, их наивные и серьезные лица, несколько французских слов, которые они с трудом выговаривали, теребя свои широкополые войлочные шляпы, — все это было настоящей пыткой для Тартарена. Сколько он

---

[41] Примечания: 41
Никер-бокеры — широкие шаровары до колен.

ни говорил им: «Не беспокойтесь… я вас тогда извещу…» — каждый день он встречал их на том же самом месте и отделывался от них с помощью какой-нибудь монеты прямо пропорционально силе своего раскаяния. В восторге от такого способа «брать Юнгфрау», проводники с важным видом опускали Trinkgeld в карман и под мелким дождем отправлялись степенным шагом к себе в село, а Тартарен пребывал в смущении и в отчаянии от своей бесхарактерности. Ну, а там — дивный воздух, цветущие долины, отражавшиеся во влажных Сониных зрачках, прикосновение маленькой ножки к его башмаку… Нет, к черту Юнгфрау! Герой наш не думал теперь ни о чем, кроме своей страсти, вернее, кроме той цели, которую он преследовал, а именно — обратить на путь истинный бедную маленькую Соню, эту невольную преступницу, из любви к брату поставившую себя вне закона и вне общества.

Вот что удерживало его в Интерлакене, в одном отеле с Васильевыми. В его годы, при его солидности, он не смел и мечтать о том, чтобы это дитя полюбило его. Но Соня была такая милая, такая смелая, такая отзывчивая по отношению ко всем пострадавшим ее соратникам, она так любила своего брата, который вернулся к ней из

сибирских рудников весь в язвах, отравленный ярь-медянкой, обреченный на смерть от чахотки, чей приговор был неумолимее приговоров всех военно-полевых судов, вместе взятых! Право, тут было от чего растаять!

Тартарен предлагал увезти их в Тараскон и устроить в залитом солнцем домике на окраине города, славного маленького города, где никогда не бывает ненастья и где вся жизнь проходит в песнях и в празднествах. Увлекшись, он напевал веселую народную песенку на мотив фарандолы и в такт барабанил пальцами по шляпе:

Эй, Тараск, эй, Тараск,
Не лети стремглав с горы!
Эй, Тараск, эй, Тараск,
Попадешь в тартарары!

Но тонкие губы Сониного брата становились еще тоньше от иронической усмешки, а Соня отрицательно качала головой. Пока русский народ стонет под пятой тирана, ни солнца, ни празднеств для нее не существует. Как только брат выздоровеет — ее грустные глаза говорили другое, — они непременно вернутся в Россию, чтобы пострадать и умереть за великое дело.

— Но ведь вы бросите бомбу в одного тирана, а

на его место явится, черт возьми, новый!.. И опять начинай с начала!.. — кричал Тартарен. — А ведь годы-то идут, да! Уходит молодость, самое счастливое время, время любви…

Его тарасконская манера произносить слово «время» через три «р» и его выпученные глаза смешили девушку. Потом она становилась серьезной и замечала, что могла бы полюбить только такого человека, который освободил бы ее родину. Пусть он будет некрасив, как Болибин, неотесан и груб, как Манилов, — такому человеку она отдастся, будет с ним жить на началах свободной любви до тех пор, пока будет представлять интерес как женщина, пока она ему не разонравится.

«Свободной любовью» нигилисты и нигилистки называли незаконную связь, в которую они по взаимному согласию вступали друг с другом. И об этой примитивной форме брака Соня говорила просто, с самым невинным видом, говорила о ней с тарасконцем, добропорядочным буржуа, мирным обывателем, готовым, впрочем, провести остаток дней подле этой обворожительной девушки даже на началах свободной любви, если б только она не ставила других убийственных, чудовищных условий.

Так они беседовали обо всех этих в высшей степени деликатных предметах, а вокруг тянулись поля, озера, горы, леса, и с каждого поворота сквозь холодное сито непрерывного дождя, преследовавшего нашего героя во всех его альпийских странствиях, взору Тартарена, как будто нарочно, чтобы испортить ему чудесную прогулку, неизменно открывалась снежная вершина Юнгфрау. Возвращались к завтраку, садились за громадный стол, рисолюбы и черносливцы возобновляли молчаливую войну, но Тартарена она теперь совершенно не интересовала — внимательный, заботливый, он сидел рядом с Соней и следил за тем, чтобы Борису сзади не дуло, он расточал все свое обаяние светского человека и проявлял хозяйственные способности заправского капустного кролика.

Потом Тартарен пил чай у русских, в маленькой гостиной на первом этаже, открытые окна которой выходили на бульвар, на краешек цветника. Тут снова наступали блаженные минуты — пока Борис дремал на диване, у Тартарена с Соней шел тихий, задушевный разговор. Шумел самовар, в приотворенную дверь вместе с лиловым блеском обвивавших ее глициний вливался запах влажной зелени. Немножко больше солнца, тепла — и

тарасконцу почудилось бы, что русская девушка вместе с ним ухаживает за садиком с баобабом.

Вдруг Соня вздрагивала:

— Уже два часа!.. А почта?..

— Я пойду схожу, — вызывался добрый Тартарен, и лишь по звуку его голоса, по решительному, театральному жесту, каким он застегивал куртку и брал трость, можно было судить о важности предпринимавшегося им шага, по-видимому довольно простого, — сходить на почту за корреспонденцией для Васильевых.

Нигилисты, в особенности их главари, находились под неослабным надзором местных властей и русской тайной полиции, а потому они прибегали к некоторым предосторожностям; так, например, письма и газеты высылались им до востребования, причем на конвертах проставлялись только их инициалы.

В Интерлакене Борис совсем ослабел, и Тартарен, чтобы Соне не нужно было оставлять брата одного, чтобы избавить ее от томительно долгого ожидания у почтового окошечка под любопытными взорами, взял на себя этот ежедневный труд, сопряженный с опасностью и риском. Почта находилась всего в десяти минутах ходьбы от отеля, на шумной, широкой, составлявшей продолжение

бульвара улице, по обеим сторонам которой тянулись кафе, пивные и магазины для иностранцев, заваленные альпенштоками, гетрами, ремнями, биноклями, дымчатыми стеклами, флягами и дорожными мешками, — все это словно нарочно было выставлено на витринах, чтобы устыдить альпиниста-отступника. По улице двигались вереницы туристов, шли лошади, проводники, мулы, мелькали голубые вуали, зеленые вуали, в такт иноходи мулов позвякивали погребцы, в такт шагам раскачивались стальные крючья, но к этому вечному празднику герой наш оставался равнодушен. Он даже не чувствовал порывов налетавшего с гор холодного, пахнувшего снегом ветра — все внимание его было поглощено тем, как бы направить по ложному следу сыщиков, которые, казалось ему, так и ходят за ним по пятам.

Первый солдат авангарда, стрелок, настильным огнем обстреливающий стены вражеского города, не продвигается вперед с такой осторожностью, с какой тарасконец проходил небольшое расстояние от отеля до почты. Если сзади ему чудился звон шпор, он, чтобы пропустить полицейского вперед, останавливался у фотографии и начинал внимательно рассматривать витри-

ну, перелистывал иногда английскую, иногда немецкую книгу или неожиданно оборачивался и сталкивался нос к носу то с шедшей на рынок толстой трактирной кухаркой, бросавшей на него свирепый взгляд, то с безобидным туристом, заядлым черносливцем, который, приняв его за сумасшедшего, в испуге шарахался на мостовую.

Возле окошек почты, почему-то выходивших прямо на улицу, Тартарен, прежде чем подойти, долго шагал взад и вперед и заглядывал в лица встречным, потом вдруг бросался к окошку, просовывал в него и голову и плечи, лепетал нечто нечленораздельное, так что его всегда переспрашивали и тем повергали в еще больший трепет, и, завладев наконец таинственным имуществом, возвращался в отель задворками, делая громадный крюк, причем рука его судорожно сжимала в кармане пачку газет и писем, которую он при малейшей опасности готов был разорвать или даже проглотить.

Манилов и Болибин почти всегда дожидались почты у своих друзей. Из экономии и из предосторожности они жили не в отеле. Болибин поступил в типографию, а Манилов, превосходный столяр-краснодеревщик, работал на заказ. Тарасконец их недолюбливал. Один из них смущал его своими

гримасами, насмешливыми взглядами, другой отпугивал своим угрюмым видом. А кроме того, оба они занимали слишком много места в Сонином сердце.

— Это герой! — говорила про Болибина Соня и рассказывала, как он в центре Петербурга три года подряд выпускал один, без чьей-либо помощи, революционный листок. Три года он никуда не выходил, даже не показывался в окне и спал в большом чулане, в котором квартирная хозяйка запирала его каждый вечер вместе с печатным станком.

А Манилов, который в ожидании удобного случая полгода прожил в подвале Зимнего дворца и спал на динамите! За это он поплатился адскими головными болями, нервным расстройством и манией преследования, которую в нем развили налеты полиции, располагавшей неточными сведениями, что революционеры что-то готовят, и пытавшейся застать врасплох работавших во дворце мастеровых. За время своих редких выходов Манилов встречался на Адмиралтейской площади с представителем Революционного комитета, и тот, не останавливаясь, спрашивал его шепотом:

— Готовы?

— Нет еще… — не шевеля губами, отвечал Манилов.

Наконец, в один из февральских вечеров, он на этот неизменный вопрос ответил в высшей степени хладнокровно:

— Готово…

И почти тотчас же в подтверждение его слов раздался страшный взрыв, свет во всем дворце внезапно погас, площадь погрузилась во мрак, и эту кромешную тьму прорезАли стоны, вопли ужаса, трубные сигналы, галоп кавалерии и пожарной команды, мчавшейся с носилками.

Тут Соня сама себя прерывала.

— Ведь правда, это ужасно? — спрашивала она. — Столько человеческих жертв, столько усилий, такая смелость, изобретательность — и все напрасно!.. Нет, нет, массовые убийства — это плохой способ… Кого выслеживают, тот всегда спасается… Самое правильное и самое гуманное — идти на царя, как вы идете на льва: надо твердо решиться, надо взять с собой оружие, стать у окна на пути его следования и, когда он будет проезжать в карете…

— Ну да… *кнэчно*… — растерянно бормотал Тартарен, делая вид, что не понимает намека, и сейчас же заводил спор на философскую, вообще

на отвлеченную тему с кем-либо из многочисленных гостей, сидевших у Васильевых. Надо заметить, что Болибин с Маниловым были далеко не единственными их посетителями. Что ни день, появлялись новые лица: юноши и девушки, по виду — бедные студенты и восторженные учительницы, белокурые, румяные, с таким же упрямым лбом и таким же по-детски сердитым выражением лица, как у Сони. Все они были на нелегальном положении, все это были эмигранты, некоторые из них были даже в свое время приговорены к смертной казни, но их юношеский пыл от этого нисколько не охладел.

Они громко хохотали, громко разговаривали, большей частью по-французски, и Тартарен очень скоро почувствовал себя с ними легко. Они называли его «дядюшка» и любили за детскость и простодушие. Немножко он им, пожалуй, надоедал своими охотничьими рассказами, тем, что он каждый раз засучивал рукава до бицепсов и показывал след от когтей пантеры или давал пощупать на шее ямку в том месте, куда атласский лев вонзил свои клыки, и еще тем, пожалуй, что слишком быстро сходился с людьми, обнимал их за талию, хлопал по плечу и через пять минут после первого знакомства называл по именам:

«Послушайте, Дмитрий… Вы меня знаете, Федор Иванович…» Во всяком случае, довольно скоро сходился. Но все же он им нравился своей толщиной, своей приветливостью, доверчивостью, своим честолюбием. Они читали при нем письма, строили планы, придумывали пароли, чтобы сбить с толку полицию, и вся эта конспиративная кухня пленяла воображение тарасконца. Хотя насилие было чуждо его натуре, однако иной раз он не выдерживал и принимал участие в обсуждении их человекоубийственных замыслов, одобрял, возражал, давал советы, которые ему подсказывал опыт — опыт великого полководца, шествовавшего дорогой войны, владевшего всеми видами оружия и выходившего на крупных хищников один на один.

Если при нем говорили, например, об убийстве одного жандармского чина, которого нигилист заколол кинжалом в театре, Тартарен замечал, что удар был нанесен неправильно, и показывал, как надо обращаться с кинжалом.

— Гляньте: вот так, снизу вверх! Так уж себя не поранишь…

Войдя в роль, он продолжал:

— Предположим, мы с вашим деспотом встретились на медвежьей охоте и остались с глазу

на глаз. Да… Он стоит там, где вы сейчас, Федор, я здесь, вот у этого столика, и у каждого из нас охотничий нож. «Государь! Нам с вами предстоит рукопашный бой…»

Тут он выходил на середину комнаты, готовясь к прыжку, упирался своими короткими ногами в пол и, пыхтя, как дровосек или пекарь, устраивал самое настоящее сражение, которое заканчивалось его торжествующим криком в ту минуту, когда он наносил противнику удар снизу вверх, вонзал в него, черт побери, кинжал по самую рукоятку и выпускал кишки.

— Вот как это делается, милые мои детки!

Но зато какие страшные угрызения совести, какие муки испытывал Тартарен потом, когда он, надев ночной колпак, оставался один на один со своими мыслями перед стаканом сладкой воды, которую он обыкновенно пил на ночь, и когда чары Сониных синих глаз и тот хмель, что испаряли все эти отчаянные головы, были уже над ним не властны!

В самом деле, с кем он связался? До их царя ему никакого дела нет, и вообще все эти их истории его не касаются… А вдруг его в один прекрасный день схватят, посадят и выдадут московским властям?.. Все эти казаки, чтоб их, шутить не

любят… В темноте и при горизонтальном положении фантазия Тартарена, и без того обладавшая непостижимой силой, разыгрывалась, и пред его мысленным взором, как на «складных картинках», которые ему показывали в детстве, проходили многообразные чудовищные пытки, которым его подвергнут: вот он, как Борис, в рудниках добывает ярь-медянку, работает по пояс в воде, весь организм у него подточен, отравлен. Он бежит, скрывается в окутанных снегом лесах, за ним гонятся татары с собаками, нарочно выдрессированными для охоты на людей. Он изнемогает от холода и голода, его хватают, вешают между двумя разбойниками, и перед казнью его напутствует поп с лоснящейся гривой, от которого разит водкой и тюленьим жиром, меж тем как в Тарасконе, в погожий воскресный день, при блеске солнца и звуках музыки, толпа, неблагодарная, изменчивая толпа подводит сияющего Костекальда к креслу П.К.А.

Под тягостным впечатлением одного из таких страшных снов у него вырвался крик отчаяния: «Ко мне, Безюке!..» — и он послал аптекарю конфиденциальное письмо, насквозь мокрое, ибо он потел от страха. Но стоило Соне крикнуть в окно всего-навсего: «Здравствуйте!» — и он вновь

подпадал под ее обаяние, вновь испытывал мучительную нерешительность.

Как-то вечером он два часа подряд слушал в курзале волнующую музыку; когда же несчастный возвращался оттуда в отель, то позабыл всякую осторожность, и слова, которые он так долго в себе удерживал: «Я люблю вас, Соня!» — невольно слетели с его уст, в то время как рука его сжимала опиравшуюся на него Сонину руку. Соня не выразила удивления; при свете газовых фонарей, освещавших вход в отель, Тартарен заметил лишь, что она сильно побледнела.

— Что ж, меня надо заслужить!.. — сказала она с прелестной загадочной улыбкой, сверкнув своими белыми зубками.

Тартарен только хотел было ответить, поклясться, что совершит какое-нибудь преступное безумство, но в эту минуту к нему подошел служивший в отеле посыльный.

— Вас там, наверху, спрашивают… — сказал он. — Какие-то господа… Вас разыскивают!

— Меня? Разыскивают?.. А, чтоб!.. Что им нужно?

И тут перед ним вырисовалась картина №1: Тартарена хватают и выдают… Разумеется, в глубине души он струсил, но показал себя истинным

героем. Прежде всего он отскочил от Сони.

— Бегите, спасайтесь… — глухо произнес он.

Затем, гордо подняв голову, с решимостью во взоре, он, точно на эшафот, стал подниматься по лестнице, но тут его охватило столь сильное волнение, что ему пришлось держаться за перила.

Поднявшись, он заметил, что в глубине коридора, у дверей его номера, стоят какие-то люди, заглядывают в замочную скважину, стучат, зовут: «Эй, Тартарен!»

Он сделал несколько шагов вперед; во рту у него все пересохло, и он еле выговорил:

— Вы ко мне, господа?

— Ну да, конечно, к вам, дорогой президент!..

Маленький старичок, суетливый и сухонький, во всем сером, который, казалось, принес на своей куртке, на шляпе, на гетрах, на длинных отвисших усах всю пыль Городского круга, бросился к нашему герою на шею и потерся об его нежные, холеные щеки своей загрубевшей кожей, какая и должна была быть у каптенармуса в отставке.

— Бравида!.. Какими судьбами?.. И Экскурбаньес здесь!.. А это кто?..

В ответ раздалось блеянье:

— Э-это я, дорогой учи-и-итель!..

И тут, стуча по стене чем-то вроде длинной

удочки, конец которой был обернут в серую бумагу, в клеенку и перевязан веревкой, выступил вперед аптекарский ученик.

— А, ба, да это Паскалон!.. Ну, поцелуемся, малыш!.. А это что у него такое?.. Да поставь же ты это куда-нибудь!..

— Бумагу… бумагу сними!.. — шептал командир.

Юнец проворно стащил обертку, и перед взором подавленного Тартарена развернулось тарасконское знамя.

Депутаты сняли шляпы.

— Дорогой президент! — торжественно и твердо произнес Бравида, хотя голос у него все-таки дрожал. — Вы просили знамя — мы вам его привезли. Вот!..

Глаза у президента стали большими и круглыми, как яблоки.

— Я? Просил знамя?..

— Как? Разве вы не просили?..

Фамилия «Безюке» все объяснила Тартарену.

— Ах да, *кнэчно!..* — воскликнул он.

Он сразу все понял, сразу обо всем догадался и, тронутый невинной ложью аптекаря, попытавшегося воззвать к его чувству долга и к его чести, пробормотал, отдуваясь:

— Ах, друзья мои, как это хорошо! Какую услугу вы мне оказали!..

— Да здравствует *ррррезидэнт!..* — взвизгнул Паскалон, потрясая орифламмой[42].

Тут раздался «гонг» Экскурбаньеса, и его воинственный клич! «Хо-хо-хо! *Двайте шуметь*!..» — докатился до подвального этажа. Во всех номерах отворились двери, в них просунулись головы любопытных, но, напуганные стягом, черными волосатыми людьми, которые махали руками и выкрикивали какие-то непонятные слова, тотчас же скрылись. Никогда еще в стенах мирного отеля «Юнгфрау» не было такого содома.

— Пойдемте ко мне, — почувствовав некоторую неловкость, предложил Тартарен.

Они ощупью стали пробираться в темной комнате, нашаривая спички, как вдруг кто-то грохнул в дверь, от этого мощного удара она распахнулась, и на пороге появилось желтое, надменное, надутое лицо содержателя отеля Мейера.

Мейер хотел было войти, но его остановили сверкнувшие в темноте страшные глаза, и он, не заходя в номер, с неприятным немецким акцентом процедил сквозь зубы:

---

[42] Примечания: 42
Орифламма — знамя французских королей.

— Нельзя ли *потыше?..* А то вы у меня все насидитесь в полиции…

В ответ на дерзкое выражение «насидитесь» раздалось нечто подобное реву буйвола. Хозяин на шаг отступил, но все же огрызнулся:

— Знаем мы, кто вы такие! За вами слежка. Я не потерплю в моем отеле таких людей, как вы!..

— Господин Мейер! — тихо, вежливо, но весьма твердо сказал Тартарен. — Прикажите подать мне счет… Я с этими господами завтра утром отправляюсь на Юнгфрау.

О, родная земля, о, малая отчизна — частица великой! Как только Тартарен услышал тарасконский говор, как только от складок голубого знамени на него пахнуло воздухом родного края, он тотчас же вырвался из сетей любви и вернулся к своим друзьям, к своим обязанностям, к славе.

А ну, вперед!

IX
В «Ручной серне»

Очаровательна была на другой день прогулка пешком из Интерлакена в Гриндельвальд, где надо было сговориться с проводниками насчет подъема на Малую Шейдек. Очаровательно было торжественное шествие П.К.А., опять надевшего гетры и дорожный костюм и опиравшегося с одной стороны на костлявое плечо командира Бравида, а с другой — на мощную длань Экскурбаньеса, причем оба спутника были горды тем, что ведут и поддерживают своего дорогого президента, несут его ледоруб, мешок, альпеншток, меж тем как то спереди, то сзади, то сбоку прыгал, точно молодой пес, фанатик Паскалон, во избежание скандалов, подобных вчерашнему, несший знамя свернутым и накрепко перевязанным.

Веселое расположение духа, в каком находились спутники Тартарена, сознание исполненного долга, белая-белая Юнгфрау, точно дым, поднимавшаяся к небу, — всего этого было более чем достаточно, чтобы герой наш забыл то, что он здесь оставил, оставил, может быть,

навсегда и даже не простившись. Когда же они вышли на окраину Интерлакена, Тартарен на ходу поплакал сперва в жилетку Экскурбаньесу: «Послушайте, Спиридион», — потом в жилетку Бравида: «Вы меня знаете, Пласид...» Дело в том, что по иронии судьбы этого лихого вояку звали Пласидом, а Спиридионом — этого толстокожего буйвола[43] с низменными инстинктами.

К сожалению, тарасконцы, не столько сентиментальные, сколько галантные, сердечным делам не придают большого значения. «Кто теряет женщину и пятнадцать су, тот теряет только деньги», — наставительно заметил Пласид, и такого же мнения придерживался Спиридион. Что касается невинного Паскалона, то он страшно боялся женщин и краснел до ушей, когда при нем называли Малую Шейдек, — он полагал, что речь идет о какой-то особе легкого поведения. Несчастный влюбленный поневоле прекратил свои излияния и прибегнул к наиболее верному способу, а именно — стал утешать себя сам.

Да и какую печаль не рассеяла бы живописная дорога, которая тянулась сперва мимо извили-

[43] Примечания: 43

Пласид *(франц.)* — значит «мирный, кроткий». Спиридион — персонаж одноименного романа Жорж Санд (1839), монах-мыслитель и правдоискатель, разочаровывающийся в религиозной догме.

стой, белой от пены реки, чей рокот, как гром, отдавался в ельнике, покрывавшем крутые ее берега, а затем спускалась в узкую, глубокую и сумрачную лощину!

Тарасконские депутаты с каким-то благоговением, с каким-то священным ужасом глядели вокруг. Так чувствовали себя спутники Синдбада Морехода, когда впервые увидели манговые деревья и всю гигантскую тропическую флору берегов Индии. До сих пор тарасконцы знали только свои лысые каменистые горки и никогда не думали, что может быть столько деревьев сразу на таких высоких горах.

— Это еще что!.. Вот вы увидите Юнгфрау! — говорил П.К.А., наслаждаясь их изумлением и сознанием, что он растет в их глазах.

Словно для того, чтобы оживить пейзаж, смягчить его суровость, на дороге мелькали кавалькады, катились поместительные ландо, и в их окнах были видны вуали, развевавшиеся на ветру, и лица пассажиров, с любопытством разглядывавших депутацию, сомкнувшуюся вокруг своего вождя. Время от времени попадались палатки с деревянными игрушками, на обочинах стояли как вкопанные девочки в соломенных шляпках с широкими лентами и в пестрых платьях, пели

в три голоса песни и предлагали малину и эдельвейсы. Порою альпийский рог посылал в горы свою унылую ритурнель, ущелья отражали и усиливали ее звуки, а потом она постепенно сходила на нет, точно облако, превращающееся в пар.

— Как красиво! Ну прямо орган… — похожий на святого с витража, со слезами на глазах лепетал, придя в экстаз, Паскалон.

Экскурбаньес ревел во всю мочь, и эхо разносило окрест его тарасконский выговор:

— Хо-хо-хо!.. *Двайте шумэт*ь!..

Однако двухчасовая ходьба среди однообразного пейзажа, хотя бы это был пейзаж зелено-голубой, с ледниками в глубине и звучный, как часы с музыкой, все-таки утомительна. Грохот потоков, трехголосные хоры, игрушечники и маленькие цветочницы — все это опостылело нашим путешественникам, а главное — сырость, пар на дне этой воронки, куда совсем не заглядывало солнце, чмокающая под ногами земля, заросшая цветущими водяными растениями.

— Тут недолго и плеврит схватить, — поднимая воротник, ворчал Бравида.

Потом стали сказываться усталость, голод, дурное расположение духа. Трактира нигде не было. Экскурбаньес и Бравида набили себе животы

малиной и теперь жестоко страдали. Паскалон, этот ангел во плоти, которому бессовестные спутники взвалили на плечи не только знамя, но и ледоруб, и мешок, и альпеншток, — и тот утратил свойственную ему жизнерадостность и перестал скакать.

На одном из поворотов, когда они переходили Лючинен по крытому мосту, какие строят в этих краях, где так часты снежные заносы, их оглушило отчаянное завывание рога.

— Ну, ну, довольно, довольно!.. — в ужасе возопила депутация.

Человек гигантского роста, прятавшийся в засаде у обочины дороги, вынул изо рта длинную еловую трубу, доходившую до самой земли и оканчивавшуюся резонатором, который придавал этому доисторическому инструменту звучность артиллерийского орудия.

— Спросите его, нет ли тут поблизости трактира, — сказал президент Экскурбаньесу, который, обладая громадным апломбом и карманным словариком, считал, что в немецкой Швейцарии он может служить депутации переводчиком. Но не успел он достать словарь, как незнакомец заговорил на прекрасном французском языке:

— Трактир, господа?.. Ну конечно!.. До «Ручной

серны» два шага… Позвольте, я вас провожу.

Дорогой он им про себя рассказал, что несколько лет прослужил комиссионером в Париже, на углу улицы Вивьен.

«Тоже, значит, состоит на службе в Компании, черт его дери», — подумал Тартарен, однако решил оставить своих спутников в блаженном неведении. Сослуживец Бомпара очень им всем пригодился, так как, хотя над входом в «Ручную серну» красовалась французская вывеска, говорили здесь на скверном немецком языке.

Немного погодя тарасконская депутация, усевшись вокруг огромной сковороды, на которой им была подана яичница с картофелем, восстановила свои силы и доброе расположение духа, столь же необходимое южанам, как солнце их родному краю. Выпили изрядно, покушали плотно. После многочисленных тостов за президента и за успех его начинания Тартарен, которого с первого же момента заинтересовала вывеска, обратился к игроку на роге, замаривавшему червячка в углу:

— Стало быть, у вас здесь водятся серны?.. Я думал, в Швейцарии они повывелись.

Тот прищурился.

— Нельзя сказать, чтобы их тут было много, но все-таки мы вам покажем.

— Да президенту пострелять хочется, вот что!.. — вне себя от восторга воскликнул Паскалон. — Он бьет без промаха.

Тартарен пожалел, что не взял с собой карабина.

— Подождите, я поговорю с хозяином.

Оказалось, что хозяин прежде охотился на серн. Он предложил свое ружье, порох, дробь и даже вызвался проводить путешественников в такое место, где водятся серны.

— А ну, вперед! — сказал Тартарен.

Он рад был доставить альпинцам удовольствие похвалиться меткостью своего вождя. Правда, это задержка. Ну, ничего, Юнгфрау подождет!

Выйдя из трактира черным ходом, они прошли садик, занимавший не больше пространства, чем цветник при доме начальника железнодорожной станции, отворили калитку и сразу очутились в глубокой теснине, где росли только ели да колючий кустарник.

Трактирщик пошел вперед, и вскоре тарасконцы увидели, что он уже очень высоко забрался, размахивает руками, бросает камни — вероятно, для того, чтобы поднять серну. С великим трудом добрались они до него по кремнистым отвесным склонам, особенно тяжким для людей, вроде на-

ших добрых тарасконских альпинистов, только что вставших из-за стола и не привыкших лазать по горам. А тут еще духота, дуновение близкой грозы, гнавшее медлительные тучи по верхам гор, над самой головой у путешественников.

— А, чтоб!.. — охал Бравида.

— А ну их всех! — ворчал Экскурбаньес.

— Извините за выраже-е-ение!.. — блеющим голосом прибавлял за них кроткий Паскалон.

Внезапно проводник подал им знак молчать и не двигаться.

— С оружием в руках не разговаривают, — строго заметил Тартарен из Тараскона, и все ему повиновались, хотя вооружен был только президент.

Все стояли не шевелясь и затаив дыхание. Вдруг Паскалон крикнул:

— Гляньте-ка, серна, гляньте-ка!..

В ста метрах от них, укрепившись всеми четырьмя ножками на самом краю скалы, красивое, словно выточенное из дерева животное светло-рыжей масти бесстрашно смотрело на пришельцев. Тартарен, по своему обыкновению не спеша, вскинул ружье и хотел было прицелиться, но серна уже исчезла.

— Это ты виноват, — сказал командир Паскало-

ну. — Ты свистнул… Это ее спугнуло.

— Да разве я свистел?

— Ну, значит, Спиридион…

— Да бог с вами! Я и не думал.

Все, однако, слышали резкий продолжительный свист. Но президент их успокоил, — он сказал, что серны при приближении опасности с шумом выпускают из ноздрей воздух. Какой же Тартарен молодчина! Он и в охоте на серн смыслил не меньше, чем в любой другой! По зову проводника все снова пустились в путь. Однако подъем становился все труднее, гора все круче, справа и слева зияли пропасти. Тартарен шел впереди и ежеминутно оборачивался, чтобы помочь депутатам, протянуть им руку или же карабин.

— Руку! Если можно, руку! — молил доблестный Бравида, безумно боявшийся заряженных ружей.

Снова знак проводника, снова остановка, снова все задирают головы вверх.

— На меня капнуло! — растерянно пробормотал командир.

В ту же минуту загремел гром, но его покрыл голос Экскурбаньеса:

— Тартарен! Серна!

Серна, перемахнув через впадину, золотистым бликом скользнула мимо них так быстро, что

Тартарен не успел прицелиться, но продолжительный свист, исходивший из ее ноздрей, они все же расслышали.

— Вот я ее сейчас, разэтакую такую! — крикнул президент.

Но депутаты воспротивились. Экскурбаньес, вспылив, заметил, что президент, как видно, поклялся их доконать.

— Дорогой учи-и-итель!.. — робко заблеял Паскалон. — Я слыхал, что, если серну загнать на край пропасти, она становится опасной и может броситься на охотника.

— Ну так не будем загонять ее на край пропасти! — грозно заломив фуражку, воскликнул Бравида.

Тартарен обозвал их мокрыми курицами. Внезапно в самый разгар ссоры их всех скрыла друг от друга плотная и теплая пелена дождя, пахнувшего серой, и сквозь нее они тщетно перекликались:

— Эй, Тартарен!

— Пласид, где вы?

— Учи-и-ите-е-ель!

— Спокойствие! Спокойствие!

Поднялась настоящая паника. Налетевший вихрь разорвал тучу, как кисею, клочья ее, цеп-

ляясь за кусты, затрепыхались на ветру, из тучи ударила зигзагообразная молния и с ужасающим треском упала прямо под ноги путешественникам.

— Моя фуражка!.. — закричал Спиридион.

Буря сорвала со Спиридиона фуражку, волосы у него поднялись дыбом и трещали от пробегавших по ним электрических искр. Путешественники попали в центр грозы, в самую кузницу Вулкана. Бравида первый пустился бежать со всех ног, другие депутаты бросились было за ним, но их остановил крик П.К.А., думавшего за всех:

— Несчастные!.. Берегитесь молнии!..

Но дело было не только в этой, вполне реальной, впрочем, опасности, о которой он их предупреждал, — бежать по изборожденным трещинами откосам, которые ливень превратил в сплошные потоки и водопады, не представлялось возможным. Обратный путь был поистине ужасен: альпинцы шли медленным шагом под обломным ливнем, при вспышках молнии, сопровождавшихся ударами грома, поминутно скользили, падали, останавливались. Паскалон крестился, по тарасконскому обычаю громко призывал «святую Ангелину и Марию Магдалину», Экскурбаньес поминал «разэтакого такого»,

а шедший в арьергарде Бравида испуганно оглядывался.

— Что это еще за сатанинское отродье сзади нас?.. — говорил он. — Свистит, скачет, потом вдруг останавливается…

Из головы у храброго воина не выходила мысль о рассвирепевшей серне, бросающейся на охотников. Тихонько, чтобы не напугать товарищей, он поделился своими опасениями с Тартареном, и тот мужественно пошел вместо него в арьергарде; промокнув до костей, Тартарен шагал, гордо подняв голову, с той молчаливой решимостью, какую придает сознание неотвратимой опасности. Но зато, когда президент вернулся в трактир и удостоверился, что все милые его сердцу альпинцы под кровом, растираются, сушатся вокруг огромной кафельной печи в комнате на втором этаже, куда снизу поднимался запах уже заказанного грога, ему вдруг показалось, что его знобит, и он стал бледен как смерть.

— Мне что-то нехорошо… — объявил он.

«Что-то нехорошо» — это страшное своей неопределенностью и краткостью выражение означает у тарасконцев любое заболевание:

чуму, холеру, *vomito nero*[44], черную оспу, перемежающуюся лихорадку, паралич, ибо все эти болезни мерещатся тарасконцу при малейшем недомогании.

Тартарену что-то нехорошо! Следовательно, нечего было и думать о том, чтобы двигаться дальше, да и вся депутация мечтала отдохнуть. Тартарену сейчас же нагрели постель, принесли горячего вина, и после второго стакана президент почувствовал, как по всему его изнеженному телу разливается тепло и бегают мурашки, а это был добрый знак. Подложив себе под спину две подушки, накрыв ноги периной, надев на голову вязаный шлем, он с особым наслаждением прислушивался к завываниям бури, дышал приятным запахом ели, исходившим от неоклеенных стен деревенской комнаты с маленькими мутными окошечками, и смотрел на милых его сердцу альпинцев, со стаканами в руках обступивших его ложе, смотрел на их галльские, сарацинские, римские физиономии, которым придавали еще более причудливый вид пологи, ковры и занавески, заменившие им обычное их одеяние, все еще дымившееся возле печки. Забывая о себе,

---

[44] Примечания: 44
желтую лихорадку *(итал.)*

Тартарен участливо спрашивал их:

— Ну, как вы, Пласид?.. А вам, Спиридион, кажется, нездоровилось?..

Нет, Спиридиону уже здоровилось. Когда он узнал, что президент тяжело болен, у него все как рукой сняло. Бравида, у которого на любой случай жизни были припасены тарасконские поговорки, цинично заметил:

— Захворал твой сосед — так и знай: полегчает тебе!..

Потом они заговорили про свою охоту и воодушевились при воспоминании о некоторых опасных эпизодах, о том, например, как на них бросилась рассвирепевшая серна. Не сговариваясь, они в простоте души уже придумывали всякие небылицы, которые будут потом рассказывать дома.

Внезапно в комнату влетел, стыдливым движением Полиевкта натягивая на себя голой рукой занавеску, вышитую голубыми цветами, перепуганный Паскалон, бегавший вниз на кухню за новой порцией грога. Он совсем задохнулся и лишь несколько мгновений спустя еле слышно произнес:

— Серна!..

— Что серна?..

— Она там, на кухне… Греется!..

— Ну да!..

— Не валяй дурака!..

— Подите посмотрите, Пласид!..

Бравида не решился. Вместо него туда прошел на цыпочках Экскурбаньес и тут же с искаженным от ужаса лицом возвратился… Час от часу не легче: серна пила теплое вино!..

И то сказать, бедная серна заслужила это угощение: она так бешено мчалась в горах, хозяин нынче совсем ее загонял, а ведь обыкновенно он, чтобы убедить путешественников, как легко она поддается дрессировке, заставлял ее показывать разные фокусы в комнате.

— Непостижимо! — отказываясь что-либо понять, воскликнул Бравида.

А Тартарен в это время надвинул шлем на глаза, чтобы депутаты не заметили добродушно-насмешливого выражения, какое приняло его лицо при мысли о безопасной Швейцарии Бомпара со всеми ее эффектами и со всеми ее статистами, на каждом шагу напоминавшей ему о себе.

X

Восхождение на Юнгфрау. «Гляньте: быки!» Шипы Кеннеди никуда не годятся, спиртовка тоже. В домике Клуба альпинистов появляются люди в масках. Президент падает в расселину. Там он теряет очки. На вершине! Тартарен превращается в бога

В отеле «Прелестный вид» на Малой Шейдек сегодня утром большой наплыв туристов. Несмотря на дождь и ветер, столы накрыты на веранде, под навесом, среди груд альпенштоков, фляг, подзорных труб, резных часов с кукушкой, и взорам завтракающих туристов слева представляется чудная Гриндельвальдская долина, лежащая тысячи на две метров ниже веранды, справа — Лаутербрунненская долина, прямо, чуть ли не на расстоянии ружейного выстрела, величественные девственные склоны Юнгфрау, ее фирновые поля, ее ледники, ее светящаяся, все вокруг озаряющая белизна, от которой стаканы кажутся еще прозрачнее, а скатерти белее.

Всеобщее внимание привлекал, однако, кара-

ван шумных бородачей, только что прибывших кто верхом на лошади, кто на муле, кто на осле, а кто даже на носилках и перед подъемом устроивших себе обильный завтрак, проходивший весьма оживленно; при этом поднятый ими шум составлял полную противоположность торжественной скуке, царившей у рисолюбов и чернослив цев, собравшихся на Малой Шейдек, среди которых были такие знаменитости, как лорд Чипндейл, бельгийский сенатор с семейством, австро-венгерский дипломат и другие. Можно было подумать, что сидящие за одним столом бородачи собираются подниматься на гору все вместе, потому что каждый из них принимал живейшее участие в приготовлениях, поминутно вскакивал, бросался отдавать распоряжения проводникам, осматривал провизию, и все они с одного конца террасы на другой перекликались дикими голосами:

— Эй, Пласид! Гляньте: миска в мешке или нет?

— Не забудьте спиртовку! А?

Только перед самым отходом выяснилось, что большинство составляют провожающие, что из всего каравана собирается совершить подъем только один человек, но зато какой человек!

— Ну что, друзья, все готово? — спросил добрый Тартарен, и в его радостном, ликующем тоне не улавливалось ни единой тревожной нотки в связи с возможными опасностями путешествия, ибо последние его сомнения относительно швейцарских подделок рассеялись нынче же утром, когда он увидел перед двумя гриндельвальдскими ледниками кассу, турникет и вывеску: «За вход на ледник — 1 франк 50 сантимов».

Итак, наш герой мог спокойно наслаждаться торжественными проводами и приятным сознанием, что все на него смотрят, все ему завидуют, что юные бесцеремонные мисс, коротко подстриженные «под мальчика», которые так мило шутили над ним в «Риги-Кульм», сейчас приходят в восторг, сравнивая этого низенького человека с громадной горой, на которую он должен взойти. Одна из них набрасывала его портрет в альбоме, другая почла за честь прикоснуться к его альпенштоку.

— Чимпэньского!.. Чимпэньского! — неожиданно каркнул мрачный, долговязый, багроволицый англичанин, подходя к Тартарену с бутылкой и стаканом. Чокнувшись с героем, он представился:
— Лорд Чипндейл, сэр… А вы?

— Тартарен из Тараскона.

— *Oh yes*!..[45] Тартерин… Очень хорошее имя для лошади, — заметил лорд, видимо, заядлый спортсмен.

Австро-венгерский дипломат тоже подошел подержать руку альпиниста между своими митенками и все старался вспомнить, где он мог его видеть.

— Очень рад!.. Очень рад!.. — мямлил он, не зная, о чем говорить дальше, и наконец прибавил: — Сердечный привет супруге… — У него вошло в привычку обрывать этой светской фразой церемонию представления.

Проводники между тем торопили — надо было засветло добраться до домика Клуба альпинистов, где совершающие подъем обыкновенно останавливаются после первого перехода; нельзя было терять ни минуты. Тартарен с ними согласился, сделал общий поклон и, отечески улыбнувшись шалуньям мисс, громовым голосом произнес:

— Паскалон, знамя!

Знамя взреяло, южане обнажили головы (в Тарасконе любят театральность!), и под нескончаемые крики: «Да здравствует Тартарен! Хо-хо!.. *Двайте шумэть*!..» — колонна двинулась в таком

---

[45] Примечания: 45
Вот как!.. *(англ.)*

порядке: впереди два проводника несли мешок, провизию и вязанки дров, за ними Паскалон с орифламмой и, наконец, П.К.А. и депутаты, которые должны были проводить его до ледника Гугги. Это шествие с хлопавшим на ветру знаменем по влажному подножью ледника, по его то голым, то завьюженным гребням напоминало отчасти деревенскую процессию в день поминовения усопших.

Вдруг командир испуганно крикнул:

— Гляньте: быки!

В самом деле, по низинкам быки щипали траву. Бывший военный боялся этих животных до сумасшествия, он ничего не мог с собой поделать, и по этому случаю вся депутация, не решившись покинуть его, вынуждена была остановиться. Паскалон передал знамя одному из проводников. После объятий, кратких напутствий и предостережений: *«Нэ,* прощайте!», «Будьте все-таки осторожны!..» — они наконец расстались. Никто из депутатов даже не подумал отправиться в путь вместе с президентом: уж очень высокая гора, чтоб ее! Чем ближе к ней, тем она выше, всюду разверзаются бездны, из белого хаоса, как уверяют — непроходимого, торчат острые пики. Нет, лучше наблюдать восхождение с Малой Шейдек.

Разумеется, нога президента Клуба альпинцев до этого никогда не ступала на ледник. Все, что он видел вокруг, не имело ничего общего с тарасконскими горками, душистыми и сухими, как пакетик с ветиверией[46]. И все же эти подступы к Гугги производили на него впечатление чего-то уже виденного, напоминали ему охоту в Провансе, на Камарге, неподалеку от моря. И здесь трава, выгоревшая, как бы опаленная огнем, становилась все ниже и ниже. Кое-где лужицы, болотца, о существовании которых предупреждал чахлый тростник, вон там — морена, похожая на движущуюся песчаную дюну, на груду разбитых раковин или кучу мелкого угля, а вдали — ледник с его иззелена-голубыми курчавившимися волнами, увенчанными белыми гребнями, с его безмолвной застывшей зыбью. Ветер, дувший оттуда, резкий, свистевший в ушах, так же пронизывал и дышал такою же здоровою свежестью, как и ветер морской.

— Нет, благодарю вас... У меня «кошки»... — сказал Тартарен проводнику, когда тот предложил ему надеть шерстяные чулки поверх башмаков. — «Кошки» системы Кеннеди... усо-

[46] Примечания: 46

Ветиверия — сорт сухих духов, представляющий собой высушенные корни индийского растения.

вершенствованные… очень удобные…

Он кричал так, как будто разговаривал с глухим, чтобы его легче понял Христиан Инебнит, который знал французский язык не лучше своего товарища Кауфмана. Сидя на валуне и разговаривая с проводниками, он в то же время привязывал ремнями, которые они ему дали, к подобию башмаков три громадных стальных зуба. Сто раз он подвергал испытанию эти «кошки» системы Кеннеди в садике с баобабом, тем не менее эффект был неожиданный. Под тяжестью нашего героя зубья вонзились в лед с такой силой, что все попытки вытащить их оказались напрасными. Пригвожденный ко льду, Тартарен пыхтел, бранился, отчаянно размахивал руками и альпенштоком и в конце концов вынужден был позвать ушедших вперед проводников, убежденных в том, что они имеют дело с опытным альпинистом.

Вырвать его с корнем оказалось немыслимо, а потому проводники сочли за благо отвязать ремни, «кошки» оставить во льду и заменить их шерстяными чулками. После этого президент продолжал свой путь, хотя уже с великим трудом и превозмогая усталость. Он не привык ходить с палкой, она у него путалась под ногами, стальной

наконечник при слишком сильном упоре скользил, и Тартарен чуть не падал. Он попробовал заменить ее ледорубом, но идти с ледорубом оказалось еще труднее, оттого что, гонимый какой-то неистовой окаменевшей бурей, ледяной прибой становился все более мощным и накатывал один неподвижный вал на другой.

Неподвижность эта была, впрочем, только кажущаяся, ибо сухой треск, глухое урчание, движение огромных ледяных глыб, переставлявшихся медленно, как декорации, — все говорило о том, что внутри застывшей массы идет своя жизнь, идет игра коварной стихии. И на глазах у нашего альпиниста, не дальше, чем он мог добросить альпеншток, образовывались расселины, бездонные колодцы, куда без конца сыпались осколки льда. Герой наш падал, один раз даже провалился по пояс в зеленоватую воронку, но с головой все же не ухнул благодаря своим широким плечам.

Видя, что он такой неловкий и в то же время такой спокойный и самоуверенный, видя, что он все хохочет, напевает, размахивает руками, как во время сегодняшнего завтрака, проводники вообразили, что так на него подействовало швейцарское шампанское. Да и могли ли они по-

думать что-либо иное о прославившемся своими горными походами президенте Клуба альпинцев, о котором его товарищи говорили не иначе, как сопровождая свою речь восторженными кликами и повышенно жестикулируя? Они взяли его под руки с почтительной твердостью полицейских, сажающих в экипаж подгулявшего сынка богатых родителей, знаками и междометиями попытались обратить его внимание на опасность, доказать ему необходимость достигнуть хижины до наступления темноты, запугивали его холодом, расселинами, обвалами. Концами своих ледорубов они показывали ему огромные ледяные горы, ослепительно сверкавшую, высившуюся до самого неба наклонную фирновую стену.

Но добрый Тартарен только посмеивался:

— А, подумаешь, расселины… А, подумаешь, обвалы…

Он прыскал, подмигивал проводникам и толкал их локтями в бок, давая понять, что его не проведешь, что закулисная сторона ему известна.

Проводники тоже в конце концов заразились весельем тарасконских песенок. И когда они останавливались на какой-нибудь устойчивой глыбе,

чтобы дать минутку передохнуть господину альпинисту, то непременно «йоделировали»[47] на швейцарский лад, но только не громко, так как боялись обвалов, и не долго, оттого что время было уже позднее. Наступавший вечер давал о себе знать резким похолоданием, а главное, тем, как странно вдруг потускнели все эти снега, все эти громоздившиеся одна на другую, нависшие льдины, которые и при пасмурном небе переливают всеми цветами радуги, но которые, как только день угасает и возносится к вечно ускользающим от взора вершинам, начинают изливать бледное, безжизненное, призрачное сиянье, сродное сиянью луны. Матовый свет, мерзлота, тишина, и во всем — смерть. И добрый Тартарен, несмотря на всю свою живость и сердечный жар, все же приуныл, как вдруг отдаленный птичий крик, призыв «куропатки снегов», неожиданно прозвучавший в этой пустыне, привел ему на память выжженное солнцем поле, рдяный закат и тарасконских охотников, сидящих на пустых ягдташах под прозрачной тенью оливкового дерева и вытирающих потные лбы. Это воспоминание ободрило его.

---

[47] Примечания: 47
От немецкого jodeln - петь с переливами (на тирольский манер).

Но вот Кауфман показал наверх — там виднелось нечто напоминавшее вязанку дров, лежащую на снегу:

— *Die Hutte*[48].

То была хижина альпинистов. Казалось, до нее рукой подать, а на самом деле пришлось идти добрых полчаса. Один из проводников пошел вперед, чтобы развести огонь. Наступила ночь, режущий лицо ветер носился по окоченелой земле. Тартарен уже неясно сознавал, что с ним творится; проводник крепко держал его за руку, а он спотыкался, подпрыгивал, и, несмотря на то что в воздухе захолодало, на нем не было сухой нитки. Вдруг в нескольких шагах сверкнул огонек, приятно запахло луковой похлебкой.

Пришли.

Трудно себе представить что-нибудь более первобытное, чем эти стоянки, устроенные в горах Швейцарским клубом альпинистов. Это одна-единственная комната с наклонными деревянными нарами для спанья, которые занимают почти все помещение и оставляют лишь весьма небольшое пространство для очага и для длинного стола, прибитого, так же как и скамейки вокруг

---

[48] Примечания: 48
хижина *(нем.)*

него, к полу. Стол был уже накрыт: три чашки, оловянные ложки, спиртовка для варки кофе, две открытые коробки чикагских консервов. Тартарену обед показался изумительно вкусным, хотя луковая похлебка припахивала дымком, а пресловутая патентованная спиртовка, на которой литр кофе должен был быть готов в течение трех минут, не действовала.

За десертом Тартарен запел — это был для него единственный способ общения с проводниками. Он спел им песенки своего родного края: «Тараск», «Авиньонки». Проводники ответили ему песенками на ломаном немецком языке: «*Mi Voter isch en Appenzeller... aou... aou...*»[49] Эти два молодца с чертами резкими и грубыми были точно вытесаны из скалы; растительность, покрывавшая их впалые щеки, напоминала мох, их светлые глаза, подобно глазам матросов, привыкли к широким пространствам. И ощущение простора и близости моря, возникшее у Тартарена недавно, на подступах к Гугги, снова появилось у него сейчас, когда он смотрел на этих ледовых моряков, сидя в тесной, низкой, дымной, похожей на каюту хижине, куда сверху капала вода, в которую мгновенно

---

[49] Примечания: 49

«мой отец — альпийский отшельник... у-у-у... у-у-у...» *(искаж. нем.)*

превращался от жары снег, и прислушиваясь к сильным порывам с размаху налетавшего на хижину ветра — ветра, от которого все сотрясалось, от которого трещали нары, колебался огонь в лампе и который потом неожиданно замирал и сменялся такой безмерной, такой потрясающей тишиной, как будто наступал конец света.

В хижине уже кончали обедать, как вдруг снаружи послышались тяжелые шаги людей, берущих подъем, и все приближающиеся голоса. Дверь затряслась от стука. Тартарен, крайне встревоженный, взглянул на проводников: ночное нападение? На такой высоте?.. Стук в дверь усилился.

— Кто там? — хватаясь за ледоруб, окликнул герой.

Но в хижину уже ввалились два огромных янки в белых холщовых масках, в одежде, мокрой от снега и пота, и два их проводника — одним словом, целый караван, возвращавшийся с вершины Юнгфрау.

— Пожалуйте, милорды, — сказал тарасконец, встречая их широким гостеприимным жестом, но милорды, не дожидаясь его приглашения, расположились со всеми удобствами.

Стол был в одну минуту захвачен, приборы

убраны, чашки и ложки, как того требовал порядок, заведенный во всех этих альпийских домиках, перемыты горячей водой и приготовлены для вновь прибывших, башмаки милордов дымились у очага, а сами милорды разулись, обернули ноги в солому и принялись за вторично изготовленную луковую похлебку.

Американцы, отец и сын, представляли собой двух рыжих великанов с грубыми и волевыми чертами, свойственными пионерам. У отца на одутловатом, загорелом, облупившемся лице были широко раскрыты совершенно белые глаза. И по тому, как неуверенно шарил он вокруг чашки и ложки, по тому, как заботился о нем сын, Тартарен скоро догадался, что это знаменитый слепой альпинист, о котором ему говорили в отеле «Прелестный вид» и в существование которого он отказывался верить, — альпинист, прославившийся своими подъемами еще в юности, а теперь, несмотря на свои шестьдесят лет и на слепоту, возобновлявший вместе с сыном все свои былые походы. Уже потеряв зрение, он взбирался на Веттергорн и на Юнгфрау и собирался «брать» Сервен и Монблан, — он был уверен, что горный воздух, холодный, пахнущий снегом, доставлявший ему неизъяснимое наслаждение,

возвращает ему утраченную бодрость.

— А все-таки, — обратился Тартарен к одному из носильщиков, так как сами янки оказались необщительными и на все его подходы отвечали только *yes* и *no*[50], — как же при его слепоте ему удается брать опасные места?

— О, у него нога настоящего горца! А кроме того, при нем неотлучно сын, следит за ним, ставит ему ноги куда нужно… Так или иначе, несчастных случаев с ним никогда не бывает.

— Тем более что несчастные случаи здесь не так уж страшны? *Чтэ*?

Тартарен заговорщицки подмигнул озадаченному носильщику, а затем, лишний раз убедившись, что «все это сплошное вранье», улегся на нарах, завернулся в одеяло, натянул вязаный шлем на глаза и, несмотря на свет, шум, табачный дым и запах лука, заснул крепким сном…

— Мосье!.. Мосье!..

Один из проводников расталкивал его перед отходом, а другой в это время разливал по чашкам кофе. Пока Тартарен шел сперва к столу, потом к двери, спящие, на которых он наступал по дороге, провожали его ворчаньем и бранью. Как только

---

[50] Примечания: 50
да, нет *(англ.)*

он вышел наружу, его охватил холод, ослепил сказочно прекрасный лунный свет, лежавший на белой пелене снегов, на застывших ледяных водометах, и в этом свете густыми черными тенями вырезывались иглы, пики, глыбы. Это был уже не полуденный искрящийся хаос, не безжизненное сочетание серых тонов вечера, но раскиданный по холмам целый город с мрачными улицами, с таинственными проездами, с подозрительными закоулками между мраморных памятников и осыпающихся развалин, мертвый город с широкими пустынными площадями.

Два часа! Если идти быстро, добраться до вершины можно к полудню.

— А ну! — бодрым голосом сказал П.К.А., устремляясь точно на штурм крепости.

Но проводники его удержали. Предстоят опасные переходы — нужно связаться.

— Ну да, еще связываться!.. А впрочем, как вам угодно…

Христиан Инебнит прошел вперед, протянув между собой и Тартареном три метра веревки, и точно такое же расстояние отделяло теперь Тартарена от второго проводника, шедшего сзади и несшего провизию и знамя. Тарасконец чувствовал себя крепче, чем накануне, ибо он теперь

окончательно во всем убедился и не придавал значения трудностям пути, если только можно было назвать путем ужасный ледяной гребень, по которому они осторожно ступали, — гребень шириной всего в несколько сантиметров и до того скользкий, что Христиану приходилось вырубать в нем ступеньки.

Линия гребня искрилась между двумя бездонными провалами. Не подумайте, однако, что Тартарен трусил. Ничуть! Так только, легкие мурашки пробегали по его телу, как это бывает с новичком, который при вступлении в масонскую ложу подвергается первым испытаниям. Он аккуратно ставил ноги на ступеньки, вырубленные головным проводником, повторял за ним все его движения и хранил при этом такое же невозмутимое спокойствие, как в садике с баобабом, когда он, к великому ужасу красных рыбок, упражнялся в хождении по краю бассейна. В одном месте гребень до того сузился, что пришлось сесть на него верхом, и вот в то время как они медленно продвигались таким способом вперед, помогая себе руками, справа, под ними, раздался оглушительный взрыв.

— Обвал! — сказал Инебнит и замер на все время, пока грохотало эхо, тысячекратное, бес-

крайнее, заполонившее собою весь небосвод и перешедшее к концу в долгий громовой раскат, который то ли удалялся, то ли постепенно затихал. А мгновение спустя надо всем уже вновь расстилался и все покрывал саван безмолвия.

Пройдя гребень, они двинулись по фирновому полю с довольно пологим склоном, но длины бесконечной. Так они поднимались больше часа, а затем узенькая розовая полоска обозначила высоко-высоко над ними вершины гор. Занималась заря. Как истый южанин, враг сумрака, Тартарен затянул песнь радости:

Солнце яркое Прованса!

Твой дружок, шалун мистраль…

Вдруг веревку спереди и сзади сильно тряхнуло, и Тартарен запнулся как раз на середине куплета.

— Шш!.. Шш!.. — зашикал на него Инебнит, показывая ледорубом на грозный ряд исполинских, громоздившихся одна на другую глыб, почти лишенных упора и от малейшего сотрясения воздуха готовых обрушиться.

Тарасконец, однако, отлично понимал, в чем тут дело. Провести его на мякине было невозможно, и он снова запел во все горло:

...Припадет к волне Дурансы
И, хмельной, несется вдаль.

Проводники, видя, что им не унять разошедшегося певуна, пошли в обход ледяных глыб, но вскоре путь им преградила громадная расселина, на зеленоватых стенах которой уже играл первый быстролетный луч зари. Через нее перекинулся так называемый «снежный мост», до того тонкий и хрупкий, что едва на него шагнули — и он весь развеялся вихрем белой пыли, увлекая за собой вниз переднего проводника и Тартарена, повисших на веревке, которую сдерживал теперь только проводник, шедший сзади, Рудольф Кауфман, изо всех своих недюжинных сил горца вцепившись в ледоруб, глубоко воткнутый в лед. Но держать двух человек над пропастью он еще кое-как мог, вытащить же их у него не хватало мочи, и, стиснув зубы, напрягши мускулы, он сидел на корточках на значительном расстоянии от расселины и не видел, что там происходило.

Ошеломленный падением, ослепленный снегом, Тартарен некоторое время, словно игрушечный паяц, болтал ногами и руками, затем веревка выпрямила его, и он повис над пропастью носом к стене льда, которую полировало его дыхание, в

позе кровельщика, чинящего водосточную трубу. Он видел, как бледнело прямо над его головой небо, как меркли последние звезды, а под ним зияла пропасть, окутанная непроницаемым мраком, и от нее веяло холодом.

Вскоре, однако, он оправился от потрясения, и к нему вернулись его обычная самоуверенность и доброе расположение духа.

— Эй, вы там, папаша Кауфман, смотрите не заморозьте нас! Чтэ? Здесь сквозняк, а веревка окаянная режет бока.

Кауфман не мог ему ответить — разжать зубы значило ослабеть. А Инебнит кричал из глубины:

— Мосье!.. Мосье!.. Ледоруб!..

Дело в том, что свой ледоруб он выронил при падении. Подвешенных разделяло изрядное расстояние, и передать это тяжеловесное орудие Инебниту оказалось для Тартарена делом отнюдь не простым. Инебниту же оно было нужно для того, чтобы сделать во льду ступеньки, за которые он мог бы держаться руками и ногами.

Тяжесть, висевшая на веревке, убавилась таким образом наполовину, после чего Рудольф Кауфман, рассчитывая каждое свое движение, крайне осторожно начал подтаскивать к себе

президента, и наконец тарасконская фуражка показалась над краем расселины. Вслед за ним выбрался Инебнит, и оба горца обменялись короткими фразами, какими обмениваются люди несловоохотливые, когда грозная опасность уже минует. Они все еще были взволнованы, от затраченных усилий руки и ноги у них дрожали, так что Тартарен счел необходимым предложить им киршвассеру для подкрепления. Сам же он был бодр, спокойно отряхивался и, отбивая ногами такт, напевал, чем привел своих проводников в немалое изумление.

— *Брав, брав, француз*!.. — хлопая его по плечу, повторял Кауфман.

А Тартарен только посмеивался. «Шутник! — говорил он себе. — Ведь я же знал, что это не опасно…»

А проводники в это время думали, что такого альпиниста они не запомнят.

Все трое начали взбираться на громадную, вышиной от шестисот до восьмисот метров отвесную стену, в которой надо было вырубать ступеньку за ступенькой, а это занятие отнимало много времени. Под лучами яркого солнца все вокруг сверкало нестерпимою для глаз белизною, а между тем очки тарасконца остались на дне

пропасти и от солнца и яркого света силы начали ему изменять. Вскоре Тартарен почувствовал страшную слабость — это был приступ горной болезни, а последствия и морской и горной болезни совершенно одинаковы. Спина у него отнялась, голова кружилась, ноги подкашивались и заплетались, так что проводники вынуждены были подхватить его под руки, как накануне, и, все время поддерживая, в конце концов они втащили его на самый верх ледяной стены. До вершины Юнгфрау оставалось теперь каких-нибудь сто метров, но хотя снег стал твердым, упругим и идти было легче, все же этот последний переход занял массу времени, оттого что П.К.А. чувствовал себя все хуже и изнемогал от усталости.

Внезапно проводники отпустили его и, махая шляпами, начали восторженно «йоделировать». Поднялись! Эта точка в девственной пустыне, этот белый, слегка округленный гребень — вот она, их цель, а для доброго Тартарена это конец сомнамбулического столбняка, в котором он пребывал уже целый час.

— Шейдек! Шейдек! — кричали проводники, показывая вниз, где на зеленеющем плоскогорье, далеко-далеко, выступал из тумана отель «Прелестный вид», казавшийся отсюда не более

игральной кости.

На пространстве, отделявшем их от отеля, развертывалась дивная панорама: ряд поднимавшихся уступами снеговых полей, золотых, оранжевых под лучами солнца или же налитых густою холодною синевою, нагромождение льдов самого причудливого строения — в виде башен, стрел, игол, ребер, гигантских горбов, как будто там, внизу, покоился давно исчезнувший с лица земли мастодонт или же мегатерий. Лучи всех цветов радуги играли, сходились на поверхности обширных ледников, низвергавших свои недвижные водопады, куда сливались мелкие застывшие потоки, верхний слой которых, гладкий, ослепительно сверкавший, мало-помалу таял на солнце. Но на большой высоте яркий блеск смягчался, здесь мерцал тусклый и холодный свет, и от этого света, от тишины и безлюдья необозримой белой пустыни с ее таинственными складками Тартарена бросило в дрожь.

Над отелем взвился дымок, донеслись глухие выстрелы. Оттуда увидели наших альпинистов и в их честь стали палить из пушки. Мысль, что на него смотрят, что все эти мисс, знатные рисолюбы и черносливцы навели на него бинокли, напомнила Тартарену о его великой миссии. О

знамя Тараскона! Тартарен выхватил тебя из рук проводника и несколько раз помахал тобою! Затем он, не выпуская из рук знамени, воткнул в снег свой ледоруб и с величественным видом сел на него лицом к публике. Он находился между солнцем и поднимавшимся сзади туманом, и тут, вследствие преломления световых лучей (явление частое на вершинах гор), на небе вырисовался исполинский Тартарен, коренастый, широкоплечий, с бородой, выбившейся из-под шлема, похожий на одного из легендарных скандинавских богов, сидящих на облаках.

XI

Назад, в Тараскон! Женевское озеро. Тартарен предлагает осмотреть темницу Бонивара. Краткий разговор среди роз. Вся компания под замком. Злосчастный Бонивар. Где нашлась авиньонская веревка

После восхождения у Тартарена опух и облупился нос, кожа на щеках потрескалась. Пять дней он просидел безвыходно в своем номере в отеле «Прелестный вид». Пять дней подряд он ставил себе компрессы и разгонял липкую, пресную тоску этих дней игрою в крестики с депутатами или же диктовал им пространный, подробный, обстоятельный отчет о своем путешествии для прочтения на заседании Клуба альпинцев и для напечатания в «Форуме». Когда же общее состояние разбитости прошло и на благородном лице П.К.А., все еще сохранявшем цвет этрусской вазы, осталось лишь несколько волдырей, струпьев и царапин, депутация во главе с президентом отправилась обратно в Тараскон через Женеву.

Мы не станем описывать их дорожные при-

ключения, то смятение, какое вызывала компания южан в тесных вагонах, на пароходах и за табльдотами своим пением, криками, слишком бурною любвеобильностью, своим знаменем и альпенштоками, — дело в том, что со времени восхождения П.К.А. на Юнгфрау все депутаты вооружились палками, а на палках были кругами выжжены подобранные в рифму названия высот, на которые всходили знаменитые альпинисты.

Монтре!

Здесь депутаты, по предложению своего предводителя, решили на день, на два остановиться и осмотреть хваленые берега Лемана, а главное — Шильонский замок с его легендарной темницей, в которой некогда томился великий патриот Бонивар и которую прославили Байрон и Делакруа[51].

По правде сказать, Тартарена не очень интересовал Бонивар — приключение с Вильгельмом Теллем пролило ему свет на швейцарские легенды, — но в Интерлакене он узнал, что Соня уехала

---

[51] Примечания: 51

Бонивар Франсуа (1493-1570) принимал участие в борьбе Женевы против герцога Савойского, Карла III, и за это был заточен им на семь лет (1530-1536 гг.) в замке Шильон. Байрон сделал этот эпизод сюжетом поэмы «Шильонский узник» (1816); Делакруа изобразил на одноименной картине (1835 г.) тот момент, когда прикованный Бонивар видит, как в той же темнице умирает его младший брат.

в Монтре вместе с братом, которому стало хуже, и это задуманное им паломничество в исторические места было для него только предлогом, чтобы повидаться с девушкой и, кто знает, может быть, уговорить ее уехать с ним в Тараскон.

Спутники его, разумеется, были самым искренним образом убеждены, что они едут почтить память великого женевского гражданина, историю которого им рассказал П.К.А. Более того, пристрастие к театральным жестам внушило им мысль — высадившись в Монтре, развернуть знамя и торжественной процессией под нескончаемые крики: «Да здравствует Бонивар!» — идти в Шильон. Президент постарался умерить их пыл.

— Сначала позавтракаем, а там видно будет… — заметил он.

И они сели в омнибус, принадлежавший пансиону Мюллера и в ряду с другими омнибусами стоявший у плавучей пристани.

— Гляньте-ка: полицейский! Что это он на нас так смотрит? — сказал Паскалон, влезая в омнибус последним из-за знамени, доставлявшего в дороге столько мучений бедному аптекарскому ученику.

Встревожился и Бравида:

— Да, правда… Чего ему от нас нужно? Что он на нас так уставился?..

— Он меня узнал, вот и все, — скромно заметил Тартарен и издали улыбнулся ваадскому полицейскому[52] в длинном синем плаще, долго смотревшему вслед омнибусу, который катился меж прибрежных тополей.

В Монтре был базарный день. Вдоль озера тянулись ряды со всех сторон открытых лавчонок, торговавших фруктами, зеленью, дешевыми кружевами, цепочками, бляшками, застежками — всеми этими блестящими, точно вылепленными из снега или выточенными изо льда безделушками, которые навешивают на себя швейцарки. И тут же, рядом, — сутолока маленькой гавани: беспрестанно сновали взад и вперед ярко окрашенные прогулочные лодки, с больших парусных бригантин выгружали мешки и бочки, слышались звонки и сиплые гудки пакетботов, на набережной возле кафе и пивных, возле лавок цветочниц и старьевщиков толкался народ. Все бы это залить солнечным светом — и можно было бы подумать, что это какая-нибудь средиземноморская гавань, между Ментоной и Бордигерой.

---

[52] Примечания: 52
Ваад (Во) — один из кантонов Швейцарии.

Но солнца не было, и наши путешественники рассматривали эту красивую местность сквозь облако тумана, который поднимался от голубого озера по ступенькам лестниц, карабкался вверх по мощеным улицам, а на вершине горы, над несколькими ярусами домов, сливался с черными тучами, что клубились среди темной зелени и готовы были вот-вот пролиться дождем.

— А, черт! Не люблю я озер!.. — ворчал Спиридион Экскурбаньес, протирая окно, чтобы посмотреть на дальние ледники и на полотнища белого пара, застилавшего горизонт впереди.

— И я не люблю, — вздохнул Паскалон. — Мгла, стоячая вода… просто хоть плачь.

Бравида тоже выразил неудовольствие: он боялся схватить воспаление седалищного нерва.

Тартарен резко их оборвал. Неужели им не хочется рассказать дома, что они видели темницу Бонивара и начертали свои имена на исторических стенах рядом с именами Руссо, Байрона, Виктора Гюго, Жорж Санд, Эжена Сю? Но, не закончив своей тирады, президент внезапно смолк и изменился в лице… Перед ним мелькнула знакомая шапочка, из-под которой выбивались белокурые локоны… Даже не остановив омнибуса, замедлившего ход на подъеме, он крикнул

изумленным альпинцам: «Увидимся в отеле!..» — и спрыгнул на мостовую.

— Соня!.. Соня!..

Он боялся, что не догонит ее, — так она спешила, такой быстрой тенью скользил по стенам домов стройный ее силуэт.

Соня обернулась, остановилась.

— А, это вы!.. — сказала она и, поздоровавшись, пошла вперед.

Тартарен, отдуваясь, пошел с ней рядом и начал извиняться за свое вынужденное исчезновение: приехали друзья, надо было во что бы то ни стало совершить восхождение… Следы этого путешествия у него еще до сих пор на лице… Она слушала молча, не оборачиваясь к нему, все торопливая шаг и глядя прямо перед собой неподвижным, ушедшим внутрь взглядом. Рассматривая ее в профиль, Тартарен нашел, что она побледнела, черты уже утратили детскую наивность и мягкость, — напротив, в них проступило то жесткое, решительное, что раньше давало себя знать только в голосе: ее непреклонная воля; от прежней Сони остались лишь девичья стройность и золотистые локоны.

— А как поживает Борис? — слегка смущенный ее молчаливостью и веявшим от нее холодом,

спросил Тартарен.

— Борис?.. — Она вздрогнула. — Ах да, правда, вы ведь ничего не знаете… Ну так идемте, идемте!..

По обеим сторонам загородной улицы, куда они наконец вышли, тянулись виноградники, спускавшиеся к озеру, и виллы с прелестными, усыпанными песком палисадниками, с террасами, увитыми плющом и тонувшими в цвету роз, петуний и мирт, росших в горшках и кадках. Навстречу усталой походкой больных людей шли иностранцы с осунувшимися лицами и сумрачным взглядом — такие фигуры часто попадаются в Ментоне и в Монако, только там все скрашивает и скрадывает солнечный свет, а здесь, под низким пасмурным небом, цветы казались свежее, а страдание выступало рельефнее.

— Сюда, — сказала Соня, отворяя чугунную решетчатую дверцу под белым каменным фронтоном, на котором было что-то написано по-русски золотыми буквами.

Тартарен не сразу сообразил, что это такое… Небольшой садик с подстриженными аллеями, с убитыми щебнем дорожками, полный вьющихся роз, переброшенных от одного зеленого дерева к другому, желтых и белых роз, наполнявших узкое

пространство своим благоуханием и сочетанием красок. Под этими гирляндами, среди этого могучего цветения — несколько стоячих и лежачих плит с именами и датами; на одной из таких каменных плит, совсем новенькой, было высечено:

БОРИС ВАСИЛЬЕВ, 22-х лет

Он умер несколько дней тому назад, почти тотчас же по приезде в Монтре. Кладбище для иностранцев, где под сенью цветов покоятся русские, поляки, шведы, те слабогрудые из холодных стран, которых посылают в эту северную Ниццу, потому что южное солнце для них слишком горячо и переход слишком резок, явилось для Бориса как бы уголком его родины.

Соня и Тартарен некоторое время стояли молча и неподвижно перед этой новой плитой, которая выделялась своею белизною на черноте свежеразворошенной земли. Девушка, опустив голову, вдыхала запах густо разросшихся роз и старалась удержать слезы в покрасневших глазах.

— Бедняжка!.. — с участием сказал Тартарен и, взяв в свои сильные, грубые руки кончики ее пальцев, спросил: — Что же вы теперь будете делать?

Она посмотрела на него в упор сухими, блестя-

щими глазами, в которых не дрожала больше ни одна слезинка:

— Через час я уезжаю.

— Уезжаете?

— Болибин уже в Петербурге… Манилов ждет меня у границы… Я опять бросаюсь в самое пекло. Вы еще о нас услышите.

Затем она, чуть заметно улыбаясь и не сводя своих синих глаз с внезапно забегавших, прятавшихся от нее глаз Тартарена, добавила:

— Кто меня любит, тот последует за мной!

Легко сказать — последовать! Сонина возбужденность привела Тартарена в ужас. Кладбищенская обстановка охлаждала его любовный пыл. В то же время ни в коем случае нельзя было показывать, что он смалодушничал. И, жестом Абенсерага[53] приложив руку к сердцу, герой наш заговорил:

— Вы знаете меня, Соня…

Она не дала ему договорить.

— Болтун! — пожав плечами, сказала она.

Гордо подняв голову, она пошла меж розовых кустов к выходу и ни разу не оглянулась… «Болтун!»… Больше она не сказала ни слова, но в тоне

---

[53] Примечания: 53

Абенсераг — герой повести Шатобриана «Похождения последнего из Абенсерагов» (1827).

ее слышалось такое презрение, что добрый Тартарен покраснел до корней волос и посмотрел, нет ли кого поблизости, не слышал ли кто-нибудь их разговор.

К счастью для нашего тарасконца, переживания не оставляли в нем глубокого следа. Через пять минут он уже весело шагал по гористым улицам Монтре, разыскивая пансион Мюллера, где альпинцы должны были ждать его к завтраку, и всем своим обликом выражал глубокое облегчение, радость от сознания, что с этой «опасной связью» покончено. ДорОгой он энергично встряхивал головой в подкрепление тех убедительных доводов, которые не захотела слушать Соня и которые он мысленно приводил сейчас себе самому: ну да, конечно, деспотизм… С этим он согласен… Но перейти от слов к делу — а, ну их!.. Да и потом, что это за занятие — убивать деспотов? Что, если все угнетенные народы воззовут к нему, как арабы к Бомбонелю, когда вокруг их селения бродила пантера? Не разорваться же ему на части, в самом деле!

Этот его разговор с самим собой внезапно прервала наемная карета, промчавшаяся мимо него во весь опор. Тартарен едва успел отскочить на тротуар.

— Ты что, не видишь, скотина?

Но его грозный окрик тотчас же сменился возгласом изумления:

— Кто это?.. Господи Иисусе!.. Не может быть!..

Бьюсь об заклад, что вы не догадаетесь, кого он увидел в старой карете!.. Депутацию, депутацию в полном составе: Бравида, Паскалона, Экскурбаньеса, — прижавшись друг к другу вплотную, они сидели на задней скамейке, бледные, растерянные, должно быть, потерпевшие поражение в бою, а напротив них Тартарен разглядел двух полицейских с ружьями. Все эти неподвижные, безмолвные профили, показавшиеся в узкой рамке окошка, промелькнули, словно в кошмарном сне. Подобно тому как недавно Тартарена пригвоздили ко льду «кошки» системы Кеннеди, так и сейчас он прирос к земле, глядя вслед бешено мчавшейся фантастической колымаге, за которой погналась выпорхнувшая из школы стайка мальчишек с сумками за спиной, и вдруг кто-то крикнул над самым ухом Тартарена:

— А вот и четвертый!..

В ту же минуту его схватили, скрутили, связали и втолкнули в наемный экипаж к полицейским, один из которых оказался офицером, вооруженным громадным палашом, и палаш этот он зажал

между колен, так что эфес касался верха кареты.

Тартарен начал было говорить, объяснять: тут явное недоразумение… Он сказал, кто он, откуда, сослался на французского консула, торговавшего швейцарским медом. С этим самым консулом по фамилии Ихенер он встречался на бокерских ярмарках. Но, видя, что стража упорно молчит, он решил, что это какой-нибудь новый эффект из Бомпаровой феерии, и, с лукавым видом обратившись к офицеру, сказал:

— Ну, ну, это вы нарочно! *Чтэ?..* Ох, выдумщик!.. Да я же знаю, что вы это нарочно!

— Молчать! А не то я вам живо рот заткну!.. — страшно вращая глазами, как будто он вот сейчас проткнет Тартарена палашом, гаркнул офицер.

Тартарен так и осел. Он уже больше не шевельнулся и все смотрел в окно на полоски озерной воды, на высокие горы, покрытые влажною зеленью, на отели с затейливыми крышами, с золочеными вывесками, видными издалека, на мельканье корзин и плетушек, точно перед ним были склоны Риги, и, опять-таки словно на Риги, глазам его открылась забавная железная дорога, а по ней взбиралась по отвесной стене к Глиону опасная заводная игрушка, и, в довершение сходства с Regina montium, ливмя лил дождь, облака

и волны касались друг друга, шел непрерывный обмен влагой между дождливым небом и туманным Леманом, между туманным Леманом и дождливым небом.

Карета прогромыхала по подъемному мосту, где в мелочных лавчонках торговали замшевыми изделиями, перочинными ножами, крючками для ботинок, гребенками, и, проехав под низким сводом башенных ворот, остановилась во дворе старинного замка; двор этот зарос травою, в каждом его углу высилась круглая башня с караулкой, — караулки держались на деревянных подпорках и были окружены черной железной решеткой. Куда их привезли? Тартарен понял это из разговора доставившего их офицера с тюремным надзирателем, толстяком в феске, позвякивавшим связкой заржавленных ключей:

— В секретную, в секретную!.. Но у меня нет больше мест, все занято… Остается только посадить его в темницу Бонивара.

— Ну так посадите его в темницу Бонивара, — приказал офицер. — Поделом вору и мука…

И приказ его был исполнен.

Шильонский замок, о котором П.К.А. два дня подряд толковал любезным его сердцу альпинцам и в который по иронии судьбы вдруг, ни с

того ни с сего, упрятали его самого, представляет собой один из наиболее посещаемых памятников старины во всей Швейцарии. Давным-давно здесь была летняя резиденция графов Савойских, потом — тюрьма для государственных преступников, потом — склад оружия и боевых припасов, а теперь это всего лишь предлог для экскурсии, так же как «Риги-Кульм» или Телльсплатте. Тем не менее здесь оставались полицейский пост и «каталажка» для пьяниц и для драчунов. Но и те и другие столь редки в мирном Ваадском кантоне, что каталажка вечно пустует и надзиратель складывает там на зиму дрова. Вот почему прибытие партии заключенных привело надзирателя в прескверное расположение духа; особенно он был недоволен тем, что теперь нельзя будет показывать посетителям знаменитую темницу, а в это время года туристы представляли для крепости самую значительную статью дохода.

Разгневанный тюремщик повел Тартарена, тот, не оказывая ни малейшего сопротивления, следовал за ним. Несколько шатких ступеней, сырой, пахнущий погребом коридор, на огромных петлях дверь толщиной в целую стену — и перед ними открылось обширное подземелье с земляным полом и сводчатым потолком, кото-

рый поддерживали тяжелые романские колонны с некогда вделанными в них и до сих пор сохранившимися железными кольцами, — к этим-то кольцам и приковывали государственных преступников. В узкие бойницы, откуда виден был лишь клочок неба, вместе со слабым светом вливались шорох и плеск озерных струй.

— Вот вы и дома, — сказал тюремщик. — Только далеко не заходите, там каменные мешки.

Тартарен в ужасе попятился:

— Каменные мешки? Господи Иисусе!..

— Ничего, братец мой, не поделаешь!.. Мне сказали посадить вас в темницу Бонивара, я вас в темницу Бонивара и сажаю... А теперь, ежели вы человек со средствами, вам можно будет предоставить некоторые удобства, например, матрац и одеяло на ночь.

— Прежде всего поесть! — взмолился Тартарен, у которого, на его счастье, не отобрали кошелька.

Надзиратель принес свежего хлеба, пива, колбасы, и новоявленный шильонский узник, со вчерашнего дня ничего не евший, изнемогавший от усталости и треволнений, с жадностью накинулся на еду. Пока он ел, сидя на каменной скамье, тюремщик при свете, проникавшем в

отдушину, дружелюбно его рассматривал.

— Не могу понять, что вы натворили, за что к вам применяют такие строгости, — сказал он.

— Черт побери, я тоже не могу понять, ничего не могу понять! — с полным ртом проговорил Тартарен.

— Одно можно сказать с уверенностью, что вы, видать, человек неплохой и, конечно, не захотите лишить бедного отца семейства его доходов, ведь правда?.. Ну так вот... Там, наверху, ждет целая компания: приехали посмотреть темницу Бонивара... Будьте так любезны, обещайте мне сидеть смирно и не пытайтесь бежать...

Добрый Тартарен поклялся, и через пять минут темницу заполонили его старые знакомые по «Риги-Кульм» и Телльсплатте: круглый дурак Шванталер, инептиссимус Астье-Рею, член Джокей-клоба со своей племянницей (гм! гм!..) — словом, все те, кто путешествовал по круговому маршруту Кука. Боясь, как бы его не узнали, несчастный Тартарен от стыда прятался за колонны, крался и отступал все дальше и дальше, по мере того как к нему приближалась группа туристов во главе с надзирателем, жалобным голосом произносившим затверженные фразы:

— Здесь злосчастный Бонивар...

Туристы двигались медленно: их задерживал спор вечно враждовавших ученых, готовых каждую минуту начать рукопашную схватку, размахивавших один — складным стулом, другой — саквояжем, и благодаря неверному свету, просачивавшемуся в отдушины, их тени причудливо растягивались на сводах.

Отступая, Тартарен подошел прямо к каменному мешку; это был темный, ничем не огороженный колодец, и от него веяло гнилостным, ледяным дыханием минувших столетий. Тартарен в испуге отпрянул, забился в угол, надвинул фуражку на глаза, но тут на него подействовал запах сырости, исходивший от стен, и он выдал свое присутствие оглушительным чохом, заставившим туристов попятиться.

— Да это Бонивар!.. — воскликнула бойкая молодая парижанка в шляпке фасона времен Директории, та самая, которую член Джокей-клоба выдавал за свою племянницу.

Тарасконец, однако, нашелся.

— Какие они уютные, эти каменные мешки, а?.. — сказал он самым естественным тоном, как будто он тоже из любознательности пришел осмотреть темницу и присоединился к другим путешественникам, а те заулыбались, сразу узнав

альпиниста из «Риги-Кульм», устроителя всем памятного бала.

— Э, мосье!.. Плясирен, танцирен!..

Перед ним предстала нелепая фигура маленькой феи Шванталер, готовой хоть сейчас протанцевать с ним кадриль. А ему как раз было до танцев! Не зная, как отвязаться от этой крохотульки, он предложил ей руку и весьма любезно показал свою темницу, кольцо, к которому узник приковывался цепью, и впадины, вытоптанные его ногами на каменных плитах вокруг одной и той же колонны. Он держал себя в высшей степени непринужденно, и милой даме в голову не могло прийти, что водит ее тоже государственный преступник, жертва людской несправедливости и жестокости. Ужасен был зато момент расставания, когда злосчастный Бонивар проводил плясунью до двери и с улыбкой светского человека попрощался с ней:

— Нет, извините… Я, видите ли, еще тут побуду…

Тут он раскланялся, а следивший за ним тюремщик, ко всеобщему изумлению, захлопнул за ним дверь и задвинул засов.

Какой позор! Беднягу даже в пот ударило, когда до него донеслись восклицания удалявшихся

туристов. К счастью, в течение дня эта пытка больше не повторялась. По случаю дурной погоды посетителей не было. В темнице ветер так и гулял, — а Тартарену чудилось, будто это стонут заживо погребенные в каменных мешках, — шумело озеро, все изрешеченное дождевыми каплями, волны бились о стены, доплескиваясь до самых отдушин, и на узника летели оттуда брызги. Порой доносились звон пароходного колокола и шлепанье колес по воде. Спускался хмурый, ненастный вечер, в сумерках темница как будто бы стала больше — все это навевало на Тартарена особенно мрачные думы.

Чем объяснить арест, заключение в этой жуткой тюрьме?.. Быть может, Костекальд?.. Последний предвыборный маневр?.. А может быть, русской полиции стали известны неосторожно сказанные им слова, его знакомство с Соней, и полиция потребовала выдачи?.. Но тогда зачем же арестовывать депутатов?.. В чем можно обвинить этих незадачливых туристов? Легко себе представить их ужас и отчаяние, хотя, впрочем, они все-таки не под этими каменными сводами, не в темнице Бонивара, где с наступлением темноты забегали огромные крысы, тараканы, бесшумные пауки с безобразными мягкими лапами.

Но вот что значит чистая совесть! Несмотря на крыс, на холод, на пауков, великий Тартарен в страшной тюрьме для государственных преступников, населенной тенями замученных, заснул таким же крепким сном, открыв рот и сжав кулаки, и так же громко захрапел, как и тогда, между небом и пропастями, в домике Клуба альпинистов. И ему казалось, что он все еще спит, когда поутру его разбудил тюремщик.

— Вставайте, префект приехал!.. Сейчас будет вас допрашивать... Ежели сам префект соизволил себя побеспокоить, стало быть, вы злодей отъявленный, — добавил он с ноткой почтительности в голосе.

Какой там злодей! Но переночевать в сырой и грязной тюрьме и не иметь возможности хотя бы слегка привести себя в порядок — да тут и впрямь сойдешь за злодея! И в бывшей конюшне замка, переделанной под казарму, где к оштукатуренным стенам прислонены составленные в козлы ружья, Тартарену, бросившему ободряющий взгляд на альпинцев, рассаженных между полицейскими, становится стыдно за свой неопрятный вид перед префектом с холеной бородкой, в безукоризненно сидящем на нем черном костюме, а префект сразу же учиняет ему

строжайший допрос:

— Вы — Манилов? Так?.. Русский подданный… В Петербурге вы устроили взрыв… потом бежали в Швейцарию и здесь совершили убийство.

— Ничего подобного… Это ошибка, недоразумение…

— Молчать, а не то я вам живо рот заткну!.. — обрывает его офицер.

— Отпираться бесполезно… — продолжает безукоризненно одетый префект. — Вам знакома эта веревка?

А, черт, это же его веревка! Веревка из проволоки, которую для него сплели в Авиньоне! К вящему изумлению депутатов, он опускает глаза и говорит:

— Да, знакома.

— На этой веревке был повешен человек в Унтервальдском кантоне…

Тартарен, содрогаясь, клянется, что он ни сном, ни духом…

— Сейчас разберемся!

И тут вводят итальянского тенора. Нигилисты повесили этого тайного агента полиции на дубовом суку, на Брюннигском перевале, но его каким-то чудом спасли дровосеки.

Сыщик смотрит на Тартарена:

— Нет, это не он!

Потом на депутатов:

— И это не те… Произошла ошибка.

Префект в бешенстве обращается к Тартарену:

— Так зачем же вы здесь?

— А это уж у вас надо спросить!.. — с апломбом невинности заявляет президент.

После краткого объяснения тарасконских альпинистов освобождают, и они удаляются из Шильонского замка, подавляющую романтическую унылость которого они теперь чувствуют, как никто. Они заезжают в пансион Мюллера, захватывают свои вещи, знамя, платят за вчерашний завтрак, который им так и не дали съесть, затем несутся на вокзал и уезжают в Женеву. Идет дождь. В слезящихся окнах мелькают названия аристократических дачных мест — Кларан, Веве, Лозанна: красные домики, садики, где капает с ветвей редкостных растений, окутанных влажной пеленой, островерхие крыши, террасы отелей.

Альпинисты расположились в углу длинного швейцарского вагона на двух скамейках, друг против друга, вид у них у всех расстроенный и пришибленный. Бравида с кислой миной жалуется на боли и то и дело обращается к Тартарену

с убийственной иронией в голосе:

— *Ннэ,* вот мы и осмотрели темницу Бонивара… Ведь вам так хотелось ее осмотреть… Надеюсь, вы на нее теперь насмотрелись. *Чтэ?..*

Экскурбаньес, впервые в жизни притихший, уныло смотрит на озеро, которое неотступно преследует тарасконцев в окне вагона.

— Бог ты мой, сколько воды!.. Теперь уж я ни за что не буду больше купаться…

Паскалон запуган; держа знамя между колен и прячась за него, он озирается, как затравленный заяц… А Тартарен?.. О, Тартарен по-прежнему величествен и невозмутим, наслаждается чтением газет, пришедших с юга Франции, целой пачки газет, доставленных в пансион Мюллера, — все они перепечатали из «Форума» рассказ о том, как он поднимался на Юнгфрау, рассказ, им самим продиктованный, но значительно расширенный и приукрашенный безудержными восхвалениями. Внезапно из груди героя вырывается крик, неистовый крик, и докатывается до противоположного конца вагона. Пассажиры вскакивают. Что это, крушение? Нет, просто-напросто заметка в «Форуме». Тартарен читает ее альпинцам:

— Послушайте: «Говорят, что В.П.К.А. Костекальд, только что поправившийся после желтухи,

которой он болел несколько дней, едет в Швейцарию с целью совершить восхождение на Монблан и подняться еще выше, чем Тартарен…» Ах, разбойник! Он хочет затмить мой подъем на Юнгфрау… Ну, погоди, я у тебя из-под ног выбью твою гору… Шамони в нескольких часах езды от Женевы, — я поднимусь на Монблан раньше, чем он! Вы поедете со мной, друзья?

Бравида противится. А, чтоб!.. Довольно с него приключений.

— Больше чем достаточно… — сипит спавший с голоса Экскурбаньес.

— А ты, Паскалон? — ласково обращается к нему Тартарен.

— Учи-и-итель!.. — не смея поднять на него глаза, блеет ученик.

И этот оставляет его!

— Хорошо! — торжественно и грозно изрекает герой. — Я поеду один, и вся слава достанется мне… А ну, давайте сюда знамя!

XII
Отель Бальте в Шамони. Пахнет чесноком! Нужна ли при восхождении на Альпы веревка? Shake handes![54] Последователь Шопенгауэра. На привале в Гран-Мюле. «Тартарррен! Мне нужно с вами поговорить...»

Колокольня Шамони девять раз прозвонила в вечернем сумраке, дрожавшем от холодного дождя и ветра. На улице было темно, во всех домах погасли огни, освещены были только отели: их подъезды и окна, выходившие во двор, — это бодрствовал газ, а вокруг, при тусклом отблеске, падавшем со снеговых вершин, и матовом мерцании луны на ночном небе, становилось еще темнее.

В отеле Бальте, одном из лучших и наиболее посещаемых отелей в этом альпийском селении, многочисленные путешественники и пансионеры, измученные дневными экскурсиями, один за другим расходились по своим номерам, и под

---

[54] Примечания: 54
рукопожатие *(англ.)*

конец в большом зале остались только английский священник, молча игравший в шашки со своей супругой, его бесчисленные дочки в нагрудниках и в фартуках из небеленого холста, усердно строчившие пригласительные записки на ближайшее евангелическое богослужение, и молодой швед, худой и бледный, который сидел у жарко горевшего камина и, попивая грог из киршвассера и сельтерской воды, мрачно смотрел на пламя. Время от времени запоздалый турист в мокрых гетрах и плаще, с которого струились потоки, появлялся в зале, останавливался у большого барометра, висевшего на стене, стучал по нему пальцем, смотрел, какую погоду на завтра обещает ртуть, и, удрученный, шел спать. Никто не произносил ни слова, не было заметно никаких других признаков жизни, кроме потрескивания дров в камине, шуршанья дождя по стеклам окон да сердитого рокота Арва под деревянным мостом в нескольких шагах от отеля.

Вдруг дверь отворилась, и в залу ввалился с чемоданами и плащами швейцар в расшитой серебром ливрее, а за ним четыре продрогших альпиниста, ошеломленных внезапным переходом от мрака и холода к теплу и свету.

— Господи, твоя воля! Вот так погодка!..

— А ну, дайте-ка нам поесть!

— Нагрейте-ка нам постели!

Сливавшиеся голоса тарасконцев шли откуда-то из глубины их кашне, меховых шапок, фуражек с наушниками, и прислуга не знала, кого слушать, пока наконец приземистый толстяк, которого они называли «прррезидэнтом», их всех не перекричал.

— Прежде всего книгу для приезжающих! — приказал он.

Перелистывая ее закоченелой рукой, он вслух называл имена путешественников, за истекшую неделю побывавших в отеле:

— «Доктор Шванталер с супругой…» Опять! «Член Французской академии Астье-Рею…»

Просматривая книгу, он бледнел всякий раз, как ему попадалась фамилия, похожая на ту, которую он искал. Наконец, прочитав еще несколько страниц, этот низкорослый человечек с торжествующим хохотом швырнул книгу на стол и подпрыгнул, как мальчишка, чего уж никак нельзя было от него ожидать при его комплекции.

— Его тут нет, понимаете? Он еще не приехал… А больше он нигде не мог остановиться. Подставили мы ножку Костекальду… «Костекальд, Костекальд, провались в тартарары!..» А теперь,

друзья мои, давайте поедим супу!..

И, поклонившись дамам, добрый Тартарен вместе с шумной и голодной депутацией направился в столовую.

Да, да, вместе со всей депутацией, даже с Бравида… Послушайте, да разве могло быть иначе?.. Что бы сказали на родине, если б они вернулись без Тартарена? Каждый из них отлично это себе представлял. И весь буфет на женевском вокзале оказался свидетелем волнующей сцены при расставании: слез, объятий, душераздирающих прощаний со знаменем; следствием же этих прощаний было то, что в ландо, которое П.К.А. нанял до Шамони, набилась вся компания. Дорога здесь чудесная, но тарасконцы сидели с закрытыми глазами, завернувшись в плащи, наполняя экипаж звучным храпом и не обращая внимания на дивные виды, открывшиеся сквозь сетку дождя прямо от самого Саланша, — виды на пропасти, леса, пенистые водопады и то показывавшуюся, то исчезавшую заоблачную вершину Монблана. Пресыщенные подобного рода красотами, наши тарасконцы думали только о том, как бы отоспаться после бессонной ночи под шильонскими замками. Даже и теперь, расположившись на одном конце длинной пустой столовой отеля

Бальте, они молча, жадно ели разогретый суп и остатки других обеденных блюд и думали о том, как бы поскорей добраться до постели. Вдруг Спиридион Экскурбаньес, завороженно двигавший челюстями, оторвался от своей тарелки и, понюхав воздух, воскликнул:

— Ух ты!.. Пахнет чесноком!..

— А ведь верно, приятный запах… — подтвердил Бравида.

И тут все тарасконцы, ободренные этим напоминанием об отчизне, этим запахом местных тарасконских блюд, которого Тартарен уже давно не вдыхал, в приливе чревоугодия заерзали на стульях. Запах шел из маленькой смежной комнаты, где ужинал в одиночестве какой-то путешественник — по-видимому, важная особа, потому что колпак шеф-повара ежеминутно показывался в окне кухни, прислуживавшей девушке передавались маленькие накрытые блюда, и она уносила их в отдельный кабинет.

— Наверно, какой-нибудь южанин, — прошептал тихий Паскалон.

А президент, помертвев при мысли о Костекальде, распорядился:

— Пойдите посмотрите, Спиридион… а потом скажите нам…

Громовой хохот раздался в отдельном кабинете, едва лишь переступил его порог славный тарасконский «Гонг», исполнявший приказ своего начальника, и вслед за тем Экскурбаньес вывел оттуда за руку носатого верзилу с плутоватыми глазами, с повязанной вокруг шеи салфеткой, как у заядлого гастронома.

— Э, Бомпар!..

— Эге, Выдумщик!

— Эге-ге, Гонзаг, здравствуйте!.. Ну как дела?

— Я, господа, стало быть, к вашим услугам… — говорил посыльный, пожимая всем руки и усаживаясь за один стол с тарасконцами, чтобы поесть белых грибов с чесноком приготовления г-жи Бальте, ненавидевшей, как и ее муж, общий стол.

То ли здесь имело значение тарасконское кушанье, то ли радостная встреча с земляком, с очаровательным Бомпаром, отличавшимся несокрушимой силой воображения, но только усталость и сонливость с тарасконцев мгновенно стряхнуло, на столе появилось шампанское, и, с пеной на усах, они еще долго потом смеялись, орали, размахивали руками, обнимались, объяснялись друг другу в любви.

— Теперь уж я вас не покину, нет! — говорил

Бомпар. — Мои перуанцы уехали… Я свободен…

— Свободны?.. В таком случае пойдемте завтра со мной на Монблан?

— Как? Вы завтра идете на Монблан? — спросил Бомпар без восторга.

— Да, я хочу стащить его у Костекальда… Он явится — глядь, а Монблана-то и нет!.. Так вы пойдете со мной, Гонзаг? Чтэ?

— Пойду… Пойду… Вот только как погода… В эту пору подъем не всегда возможен.

— Ну да, не всегда возможен!.. — проговорил Тартарен, подмигнув и улыбнувшись многозначительной улыбкой, которую Бомпар, однако, не понял.

— Пойдемте пить кофе в залу… Посоветуемся со стариком Бальте. Он это должен знать, ведь он сам когда-то был проводником, двадцать семь раз совершал восхождение.

— Двадцать семь раз! Ух ты! — в один голос воскликнули депутаты.

— Бомпар всегда преувеличивает… — сказал П.К.А. недовольным тоном, в котором можно было уловить оттенок зависти.

В зале дочки священника по-прежнему были поглощены писанием пригласительных записок, папенька с маменькой клевали носами над шаш-

ками, а долговязый швед с таким же унылым видом помешивал ложечкой свой грог с сельтерской водой. Нетрудно, однако, догадаться, что нашествие тарасконских альпинистов, воспламененных шампанским, несколько оживило юных письмоводительниц. Никогда еще эти прелестные девушки не видели, чтобы люди, пьющие кофе, так быстро меняли выражение лица, чтобы они так дико вращали глазами.

— А сахару, Тартарен?

— Что вы, командир?.. Вы же знаете… после Африки…

— Ах да, виноват!.. Э! Вот и господин Бальте!

— А ну, присаживайтесь, господин Бальте!

— Да здравствует господин Бальте!.. Хо-хо!.. *Двайте шумэть*!

Старик Бальте, которого окружили и сдавили незнакомые люди, спокойно улыбался. На широком бритом лице у этого крепкого савояра, рослого, сутулого, плечистого, ходившего медленным шагом, весело и молодо глядели хитрые глазки, что не шло к его лысине, облысел же он после того, как однажды едва не замерз на рассвете в снегах.

— Вам, господа, угодно взойти на Монблан? — спросил он, обводя тарасконцев почтительным и

вместе с тем насмешливым взглядом.

Тартарен хотел было ответить, но Бомпар прервал его:

— Время упущено, верно?

— Нет, почему же?.. — возразил бывший проводник. — Вот этот господин из Швеции отправляется завтра, а к концу недели я жду двух американцев, которые тоже хотят подняться. Один из них даже слепой.

— Я знаю. Я встретился с ним на Гугги.

— А вы были на Гугги?

— Неделю тому назад, когда взбирался на Юнгфрау…

Тут евангелические проповедницы вздрогнули, перестали водить перьями по бумаге и повернули головы в сторону Тартарена, который теперь в глазах этих англичанок, завзятых альпинисток, занимавшихся всеми видами спорта, приобретал особый интерес. Он поднимался на Юнгфрау!..

— Знатный поход! — сказал старик Бальте, с удивлением глядя на П.К.А.

А Паскалон, особенно сильно конфузившийся в присутствии дам, пробормотал, краснея и запинаясь:

— Учи-и-итель! Расскажите про эту… как ее… расселину…

Президент улыбнулся:

— Дитя!..

И все же он повел рассказ о своем падении — сперва с небрежным и равнодушным видом, а затем с бурными телодвижениями: задрыгал ногами, изображая, как он повис на конце веревки над пропастью, замахал будто бы связанными руками, призывая на помощь. Девицы вздрагивали и пожирали его глазами, холодными глазами англичанок, которые от удивления становятся круглыми.

Наступившее молчание нарушил Бомпар:

— На Чимборасо при переходе через пропасть мы не связывались веревкой.

Депутаты переглянулись. Этой тарасконадой Бомпар заткнул за пояс всех.

— Ай да Бомпар, ну и ну!.. — в простодушном изумлении пролепетал Паскалон.

Но старик Бальте, приняв сообщение Бомпара о подъеме на Чимборасо всерьез, восстал против такого способа переходить трещины — не связываясь веревкой. Он утверждал, что подъем на ледники невозможен без веревки, без прочной веревки, из манильской пеньки. Кто-нибудь один поскользнется — другие его удержат.

— При условии, если веревка не оборвется,

господин Бальте, — вспомнив сервенскую катастрофу, вставил Тартарен.

Но хозяин отеля веско проговорил.

— На Сервене веревка не оборвалась… Это проводник, шедший сзади, обрубил ее ледорубом…

Тартарен возмутился.

— Прошу прощения, сударь, — продолжал Бальте, — но проводник был прав… Он понял, что удержать других невозможно, и перерезал веревку, чтобы спасти жизнь себе, своему сыну и тому путешественнику, которого он с сыном сопровождал… Если б он на это не решился, так было бы семь жертв вместо четырех.

Возгорелся спор. Тартарен считал, что связаться одной веревкой — это все равно что дать клятву на жизнь и на смерть. Воодушевленный присутствием дам, все более и более оживляясь, он подкреплял свои слова фактами, ссылками на присутствующих:

— Вот, например, завтра я свяжусь одной веревкой с Бомпаром — ну, так это с моей стороны не просто мера предосторожности, это обет богу и людям быть с моим спутником заодно и скорей погибнуть, нежели вернуться без него, черт побери!

— Я тоже даю обет, *Тартарррен!..* — с другого

конца стола крикнул Бомпар.

Торжественная минута!

Священник в сильном волнении встал, подошел к нашему герою и пожал ему руку английским способом — как будто орудовал насосом. Его примеру последовала супруга, а за нею — девицы, причем у них у всех shake hands было столь мощным, словно они накачивали воду на шестой этаж. Должен сознаться, что депутаты особого энтузиазма не проявили.

— Ну, а я того же мнения, что и господин Бальте, — заявил Бравида. — В таких случаях каждый должен беречь свою шкуру, ей-богу! Я вполне понимаю этого проводника, который обрубил ледорубом веревку…

— Вы меня удивляете, Пласид, — строго заметил Тартарен и, наклонившись к самому его уху, прошептал: — Перестаньте, несчастный! На нас смотрит Англия…

Лихой вояка, который в глубине души, конечно, еще таил злобу на Тартарена за экскурсию в Шильон, сделал такое движение, которое означало: «Плевать я хотел на Англию…», — и, вероятно, получил бы изрядную взбучку от президента, возмущенного таким цинизмом, но в это время тоскующий молодой человек, пресыщенный

грогом и скукой, заговорил на скверном французском языке. Он тоже считал, что проводник поступил правильно, перерезав веревку: избавить от необходимости жить четырех несчастных, еще молодых, то есть обреченных еще некоторое время влачить свое существование, одним взмахом руки вернуть им покой, вновь погрузить их в небытие — какой это благородный, какой это великодушный поступок!

— Что с вами, молодой человек? — вскричал Тартарен. — Можно ли в ваши годы говорить о жизни с таким равнодушием и презрением? Что она вам сделала?

— Ничего, она мне просто наскучила…

Он изучал философию в Христиании[55] и, проникшись идеями Шопенгауэра и Гартмана[56], пришел в конце концов к заключению, что жизнь мрачна, нелепа, бессмысленна. Будучи близок к самоубийству, он, по настоянию родных, отложил книги в сторону и отправился путешествовать,

---

[55] Примечания: 55

Христиания — старое название Осло.

[56] Примечания: 56

Артур Шопенгауэр (1788-1860) рассматривал реальный мир как царство несовершенства и страдания, а выход из него видел в отказе от жизненных интересов, от деятельности. Немецкий философ Эдуард фон Гартман (1842-1906) учил, что всякий человек обречен на страдания, ибо существует как индивидуум; избавить от страданий может только «несуществование».

но всюду его преследовала скука, всюду он сталкивался с унылым убожеством жизни. Он сказал, что Тартарен и его друзья — первые жизнерадостные существа, которых он встретил.

Добрый П.К.А. расхохотался:

— Такой уж мы народ, молодой человек! Тарасконцы все такие. Благодатный край. С утра до вечера там смеются, поют, а все остальное время пляшут фарандолу. Вот так!.. Во!..

И тут он стал выписывать ногами с изяществом и легкостью крупного майского жука, расправляющего крылья.

Но депутаты не обладали железными нервами и неистощимой бодростью своего предводителя.

— *Прррезидэнт* опять разошелся… — ворчал Экскурбаньес. — Ведь уж полночь.

Бравида, выйдя из терпения, вскочил:

— А ну, пошли спать! У меня спина разболелась…

Тартарен, вспомнив о завтрашнем восхождении, согласился, и тарасконцы, захватив подсвечник, стали подниматься по широкой гранитной лестнице, ведшей в номера, а старик Бальте пошел готовить провизию и нанимать мулов и проводников.

— Ого! Снег!..

Это были первые слова доброго Тартарена, когда он проснулся на другое утро и увидел, что стекла запушил иней и что в комнате вдруг стало белым-бело. Но, прикрепив зеркальце для бритья к оконной задвижке, он сразу понял свою ошибку: это отсвечивал Монблан, прямо перед ним сверкавший под лучами дивного солнца. Тартарен отворил окно, и в комнату ворвался бодрящий ветер ледников, от которого приятно закололо щеки, а вместе с ним звон бесчисленных колокольчиков и завыванье рогов: это вслед за пастухами брели стада. На Тартарена пахнуло чем-то здоровым, первобытным, чего он до сих пор в Швейцарии не ощущал.

Внизу его дожидались толпившиеся проводники и носильщики. Швед уже сидел на муле, а среди любопытных, сомкнувших вокруг него кольцо, можно было видеть семейство священника, всех этих бойких девиц в утренних туалетах, пришедших еще раз обменяться shake hands с тарасконским героем, занимавшим их воображение.

— Погода отличная! Поторапливайтесь! — кричал хозяин, лысина которого сверкала на солнце, как валун.

Сам Тартарен не мешкал, но для него было

далеко не легким делом растормошить депутатов, которые должны были сопровождать его до Пьер-Пуантю — дальше мулы уже не прошли бы. Никакие просьбы и уговоры не могли заставить командира встать с постели; надвинув на уши ночной колпак, повернувшись лицом к стене, он на все упреки президента отвечал циничной тарасконской поговоркой:

— Кто хвалится, что рано встает, тот спит до полудня…

А Бомпар твердил:

— Да ну его, этот Монблан!.. Все враки…

Он встал только после того, как П.К.А. отдал официальное распоряжение.

Наконец караван тронулся в путь по узким улицам Шамони, и выглядело это шествие весьма торжественно: впереди восседал на муле Паскалон с развернутым знаменем, а замыкал шествие важный, как китайский богдыхан, в окружении проводников и носильщиков, шагавших по бокам его мула, добрый Тартарен, одетый по всем правилам заядлого альпиниста, щеголявший новыми очками с выпуклыми дымчатыми стеклами и знаменитой авиньонской веревкой, которую он вновь раздобыл известно какой ценой.

Все на него глазели почти с таким же любопыт-

ством, как на знамя, и он радовался, что производит на толпу сильное впечатление, любовался живописными улицами савоярского селения, столь не похожего на швейцарские села, начищенные до блеска, напоминающие новенькую игрушку или ярмарочный балаган, являющие собою полнейшую противоположность этим крошечным, вросшим в землю лачугам, большая часть которых отведена под хлев, лачугам, стоящим рядом с роскошными шестиэтажными отелями, сверкающие вывески которых режут глаз, так же как расшитая серебром фуражка швейцара, черный фрак и туфли метрдотеля режут глаз рядом с чепчиками крестьянок, фланелевыми куртками ткачей и широкополыми войлочными шляпами угольщиков. На площади стояли распряженные ландо, дорожные кареты и навозные телеги; стадо свиней разгуливало на солнцепеке, у почтовой конторы, откуда вышел англичанин в белой панаме, держа в руке пачку писем и номер «Таймса», который он читал на ходу, даже не просмотрев корреспонденцию. Кавалькада тарасконцев двигалась мимо всего этого под топот мулов, под воинственные крики Экскурбаньеса, чей «гонг», отогревшись на солнце, обрел былую силу, под колокольчики стад,

что разбрелись по уступам ближних гор, и под шум реки, выбивавшейся из-под ледника, белой от пены, искрившейся так, словно она несла на своих волнах солнце и снег.

На окраине села Бомпар подъехал к президенту и, дико вращая глазами, сказал:

— *Тартарррен!* Мне нужно с вами поговорить…

— Хорошо, потом… — сказал П.К.А.; он вел в это время философский спор с юным шведом и старался победить его мрачный пессимизм, восторгаясь чудными видами, открывавшимися вокруг: пастбищами с огромными пространствами света и тени и темно-зелеными лесами, увенчанными фирновым гребнем ослепительной белизны.

После двух бесплодных попыток приблизиться к Тартарену Бомпар вынужден был оставить его в покое. Перебравшись через Арв по небольшому мосту, караван двинулся дальше по узкой, извивавшейся между елей тропе, где мулы, пробираясь гуськом, затейливыми башмачками своих копыт прочерчивают малейшие изгибы крутизн, и, чтоб не утерять равновесия, тарасконцы напрягали все свое внимание и сдерживали мулов при помощи: «Легче, легче!.. А, чтоб!..»

В домике на Пьер-Пуантю, где Паскалон и Экскурбаньес должны были дожидаться возвращения альпинистов, Тартарен стал распоряжаться насчет завтрака, устраивать носильщиков и проводников и опять не прислушался к нашептываниям Бомпара. Но — странное дело! Несмотря на хорошую погоду, хорошее вино, чистый воздух (они находились на высоте двух тысяч метров над уровнем моря), за завтраком настроение у всех было подавленное, однако на это обстоятельство обратили внимание лишь много спустя. Поодаль шутили и смеялись проводники, а за столом тарасконцев царила тишина, которую нарушал лишь обычный шум трапезы: звон стаканов, стук тарелок, ложек, вилок и ножей по струганому столу. Неизвестно, что было тому причиной: присутствие ли мрачного шведа, приметное ли беспокойство Гонзага или же некое предчувствие, но только вид у альпинистов, двинувшихся к Боссонскому леднику, откуда, собственно, и начиналось настоящее восхождение, был столь же унылый, как у батальона, шагающего без музыки.

Ставя ногу на лед, Тартарен невольно улыбнулся при воспоминании о Гугги и о своих усовершенствованных «кошках». Какая гро-

мадная разница между новичком, которого он представлял собой тогда, и первоклассным альпинистом, за какового он почитал себя теперь! Он чувствовал себя так уверенно в тяжелых башмаках, которые нынче утром швейцар подбил ему четырьмя большими гвоздями, он научился обращаться с ледорубом, и ему теперь уже, в сущности, не нужен был проводник, который не столько поддерживал его, сколько просто указывал путь. После недавнего обвала ледник, блеск которого скрадывали дымчатые очки, был занесен снегом, а в снегу там и сям зияли предательские скользкие зеленоватые озерца. Сохраняя полнейшее спокойствие, зная по опыту, что это совершенно безопасно, Тартарен шел по самому краю расселин с гладкими, сверкавшими на солнце стенами, которым не видно было конца, шагал между нависших глыб и думал только о том, чтобы не отстать от шведского студента, неутомимого ходока, чьи длинные гетры с серебряными пряжками, плотно обтягивавшие тонкие, худые голени, поднимались вместе с альпенштоком, составлявшим как бы третью его ногу. Несмотря на трудность пути, философский спор двух альпинистов все еще продолжался, и на оледеневшем пространстве, гулком, как по-

верхность реки, непринужденно, хотя и с легкой одышкой, рокотал густой бас:

— Вы знаете меня, Отто…

А на Бомпара между тем сыпались все беды. Еще утром он был глубоко убежден, что Тартарен только хвастается, что ни на какой Монблан он не пойдет, так же как президент, конечно, и не думал ходить на Юнгфрау, а потому несчастный буфетчик надел самый обыкновенный костюм, не подбил гвоздями башмаки, не применил своего собственного изобретения, которое, как известно, состояло в том, что он предлагал подковать солдат, и не взял даже альпенштока, ибо на Чимборасо альпенштоков не признают. Он взял с собой только тросточку, которая очень шла к его шляпе с голубой лентой и к ульстеру, но, подойдя к леднику, он ужаснулся, оттого что, само собой разумеется, Выдумщик никогда никаких восхождений не совершал — все это были одни разговоры. Однако, посмотрев с высоты морены, как легко Тартарен передвигается по льду, он приободрился и решил следовать за ним до стоянки Гран-Мюле, где предстояла ночевка. Но добрался он до нее не без труда: едва ступив, он опрокинулся навзничь, затем сейчас же упал на ладони, потом на колени.

— Ничего, благодарю вас, это я нарочно... — уверял он проводников, пытавшихся его поднять. — По-американски, да!.. Как на Чимборасо!

Принятое им положение показалось ему удобным, и он пополз вперед на четвереньках, в шляпе на затылке, разметая снег полами ульстера, как бурый медведь своим мехом. При этом он не терял присутствия духа и рассказывал шедшим с ним рядом, что таким способом он поднялся в Андах на гору высотою в десять тысяч метров. Он только не счел нужным сообщить, сколько времени он поднимался, но, вероятно, довольно долго, судя по тому, что в Гран-Мюле он прибыл на целый час позднее Тартарена, весь в грязи и в снегу, с застывшими в легких перчатках руками.

По сравнению с хижиной в Гугги та, которая на средства общины Шамони была выстроена в Гран-Мюле, по-настоящему комфортабельна. Когда Бомпар вошел в кухню, где вовсю топилась печь, Тартарен и швед уже сушили там обувь, а хозяин, некое ископаемое с седыми космами, разложил перед ними сокровища своего маленького музея.

В этом мрачном музее были собраны вещи, которые хозяин сохранил на память обо всех

катастрофах, случившихся на Монблане за те сорок лет, что он держал здесь гостиницу, и, доставая вещи с витрины, старик рассказывал их печальную историю… С этим клочком сукна, с этими пуговицами от жилетки связано воспоминание об одном русском ученом, которого на леднике Бренвы унес ураган… Вот эта челюсть осталась от одного из проводников знаменитой экспедиции, состоявшей из одиннадцати путешественников и носильщиков, погибших в снежную бурю… В лучах заходящего солнца, при тусклом отблеске фирна, игравшем на стеклах окон, выставка скорбных реликвий производила особенно тягостное впечатление, как и похожие один на другой рассказы старика, тем более что в патетических местах он придавал своему дрожащему голосу особую задушевность и, развертывая кончик зеленой вуали, принадлежавшей одной англичанке, которую в 1827 году погребла под собой лавина, даже выдавливал из себя слезы.

Как ни успокаивал себя Тартарен давностью событий, как ни убеждал себя, что в те времена Компания еще не организовала безопасных восхождений, от воплей савоярского плакальщика у него сжалось сердце, и он вышел на воздух.

Тьма уже затопляла низины. Помертвелые Бос-

соны выступали из мрака совсем близко, а еще розовую вершину Монблана ласкало закатное солнце. Южанин только начал было успокаиваться от этой улыбки природы, как вдруг сзади него выросла тень Бомпара.

— А, это вы, Гонзаг!.. Я, как видите, дышу воздухом… Старик навел на меня тоску своими россказнями…

— *Тартарррен!..* — сказал Бомпар, стискивая ему руку. — По-моему, уже довольно, пора кончать эту дурацкую экспедицию.

Великий человек вытаращил на него глаза:

— Что вы городите?

И тут Бомпар нарисовал ему жуткую картину тех опасностей, которые подстерегают его здесь на каждом шагу: расселины, лавины, вихри, бури…

— Ох уж этот мне Выдумщик! — прервал его Тартарен. — А на что же Компания?.. Монблан, наверное, так же хорошо приспособлен, как и другие горы.

— Приспособлен?.. Компания?.. — пробормотал огорошенный Бомпар: он совсем забыл про свою тарасконаду.

Тогда Тартарен повторил слово в слово все, что тот рассказывал про акционерную Швейцарию,

про заарендованные горы, про бутафорские расселины. Выслушав его, бывший клубный буфетчик расхохотался.

— Как? И вы поверили?.. Да ведь я вас просто морочил… Кто, кто, а уж тарасконцы-то на этот счет мастера!..

— Значит, и Юнгфрау не приспособлена? — спросил крайне взволнованный Тартарен.

— Конечно, нет!

— А если бы веревка оборвалась?..

— О мой бедный друг!..

Герой наш, задним числом ужаснувшись, побледнел, закрыл глаза и впал в нерешительность…

Этот пейзаж, грозящий гибелью во льдах, холодный, мрачный, взрытый провалами, эти причитания старого трактирщика, еще рыдавшие у него в ушах… «А, чтоб вас всех, извините за выражение!..» Но тут он вспомнил своих *согррраждан,* вспомнил о том, что ему предстоит водрузить на вершине знамя, и сказал себе, что с таким хорошим проводником, с таким надежным товарищем, как Бомпар… Да и потом, поднялся же он на Юнгфрау!.. Почему бы не попытаться взойти на Монблан?

Тартарен положил свою широкую ладонь на

плечо другу и твердым голосом заговорил:

— Послушайте, Гонзаг…

XIII
Катастрофа

Темной-претемной ночью, без луны, без звезд, без небосвода, на мерцающей белизне покрытой снегом кручи тянется длинная веревка, к которой привязаны одна за другой крошечные боязливые фигурки, а впереди, метрах в ста, красным пятном словно ползет по снегу фонарь. Звонкие удары ледоруба о наст да скатывающиеся вниз обломки льда нарушают безмолвие фирна, приглушающего шаги каравана. Время от времени вскрик, придушенный стон, стук тела, падающего на лед, и вслед за тем — зычный голос с конца веревки:

— Смотрите не сорвитесь, Гонзаг!

Дело в том, что бедняга Бомпар отважился сопровождать своего друга Тартарена до самой вершины Монблана. С двух часов ночи — а теперь на президентских часах с репетицией уже четыре — несчастный посыльный ползет на карачках, и его, как настоящего каторжника, прикованного к цепи, тащат вперед, толкают, а он скользит, спотыкается, пытается удержать различные междометия, готовые сорваться у него с языка

в связи с каким-нибудь новым злоключением, лавины грозят ему со всех сторон, от малейшего сотрясения, от более или менее сильного колебания прозрачного воздуха могут произойти обвалы снега и льда. Страдать молча — какая же это пытка для тарасконца!

Внезапно караван останавливается. Тартарен спрашивает, что случилось, слышатся тихие переговаривающиеся голоса, энергичный шепот.

— Ваш товарищ не желает идти дальше, — заявляет швед.

Порядок движения нарушен, человеческая цепь растягивается, одно звено находит на другое, и вот уже они все на краю громадной расселины, которая на языке альпинистов называется «трещиной». До сих пор через такие трещины они переправлялись ползком по лестнице, перекинутой с одного края на другой. На сей раз трещина оказалась очень широкой, противоположный край выше этого футов на восемьдесят — на сто. Придется спуститься на дно суживающейся книзу ямы по ступенькам, которые надо будет вырубить ледорубом, и таким же способом выбраться наверх. Но Бомпар отказывается наотрез.

Наклонившись над пропастью, которая в темноте кажется бездонной, он следит за тем, как

мелькает во мгле фонарик проводника, вырубающего ступени. Тартарен тоже не очень спокоен и подбадривает себя увещаниями, с которыми обращается к своему другу:

— А ну, Гонзаг, смелей!

Затем, понизив голос до шепота, он взывает к его чувству чести, напоминает про Тараскон, про знамя, про Клуб альпинцев.

— А, да ну его, этот Клуб!.. Я к нему никакого отношения не имею, — цинично заявляет тот.

Тогда Тартарен берется сам переставлять ему ноги — это, мол, легче легкого.

— Для вас это, может быть, и легко, а для меня — нет!..

— Да вы же сами говорили, что привыкли…

— Ну да, конечно, привык… Но к чему? Мало ли к чему я привык… привык курить, спать…

— А главное, лгать, — обрывает его президент.

— Нет, что вы! Преувеличивать!.. — не моргнув глазом, поправляет Бомпар.

Однако под угрозой, что его оставят здесь одного, он, пересилив себя, начинает медленно, осторожно спускаться по ужасной лестнице, вроде тех, что бывают на мельницах… Еще труднее подняться на противоположную стену, отвесную и гладкую, как мрамор, выше тарасконской

башни короля Рене. Снизу мигающий фонарик в руке проводника представляется ползучим светлячком. Но ничего не поделаешь, надо взять себя в руки, а то ведь снег под ногами оседает, у подножья ледяной стены, в широкой промоине, которую не столько видишь, сколько чувствуешь, журчит и булькает вода, и оттуда веет холодом подземных глубин.

— Смотрите не сорвитесь, Гонзаг!..

Эта фраза, которую Тартарен произносит ласковым, почти умоляющим тоном, приобретает грозный смысл, ибо альпинисты, ползущие друг над другом и цепляющиеся руками и ногами за малейший выступ, связаны между собой не только веревкой, но и мерностью движений, а потому падение или простая неловкость одного может навлечь опасность на всех. И какую опасность, черт побери! Достаточно послушать, как подскакивают, летя вниз, обломки льда и какое гулкое эхо будят они при падении во всех расселинах, во всей неведомой глуби, чтобы вообразить себе пасть чудовища, подстерегающего вас и готового проглотить при мало-мальски неверном шаге.

Но что там еще? Долговязый швед, взбирающийся впереди Тартарена, останавливается, и его подбитые железом каблуки касаются фу-

ражки П.К.А. Напрасно проводники кричат ему: «Вперед!..», а президент: «Идите же, молодой человек!..» — никакого внимания. Швед вытягивается во весь рост, а затем, почти не держась, наклоняется, и лучи восходящего солнца скользят по его жидкой бородке и освещают странное выражение его широко раскрытых глаз.

— Взгляните, какая крутизна! — говорит он Тартарену, показывая вниз. — Вот бы отсюда сорваться!..

— Ого! Могу себе представить… Вы бы нас всех за собой увлекли… Поднимайтесь!..

Но швед не двигается.

— Удобный случай покончить все счеты с жизнью, — продолжает он, — перейти в небытие через недра земли, покатиться от пропасти к пропасти, как вот этот осколок льда, который я сейчас толкаю ногой…

И швед, до жути низко наклонившись, слушает, как подпрыгивающий кусок льда бесконечно долго звенит в предрассветном сумраке.

— Несчастный! Что выделаете? — помертвев от ужаса, кричит Тартарен и, судорожно цепляясь за мокрую стену, продолжает свою вчерашнюю пламенную речь во славу жизни: — В жизни есть и хорошее, черт побери!.. В ваши годы, такой

красивый юноша, как вы… Неужто вы не верите в любовь? *Чтэ*?

Нет, его собеседник не верит в любовь. Любовь идеальную выдумали поэты, другого рода любовь — это потребность, которой он никогда не испытывал…

— Ну да! Ну да!.. Это правда: поэты все немножко тарасконцы, они всегда прибавляют. Но все-таки *бабочка* — так у нас называют дам — это неплохо. А там пойдут дети, славные крошки, похожие на вас.

— Да, дети, источник страданий! Моя мать, с тех пор как я появился на свет, плачет, не осушая глаз.

— Послушайте, Отто, вы меня знаете, мой милый друг…

Всеми силами своей отзывчивой, благородной души Тартарен старается расшевелить, встряхнуть эту жертву Шопенгауэра и Гартмана, двух шутов гороховых, с которыми он, разэтакие они такие, хотел бы встретиться на узкой дорожке и рассчитаться за тот вред, что они причинили юношеству…

Представьте себе этот философский спор, происходящий на высокой ледяной стене, холодной, зеленоватой, сырой, чуть озаренной

бледным лучом рассвета, насаженные на вертел человеческие тела, лепящиеся к стене вверх по ступенькам, зловещее клокотанье воды, доносящееся снизу, из глубины зияющих беловатых бездн, и брань проводников, грозящих отвязаться и покинуть путешественников. Наконец, Тартарен, видя, что никакие уговоры на безумца не действуют и не уменьшают его тяги к самоубийству, советует ему броситься с самой высокой точки Монблана:

— Оттуда, сверху, — это другое дело, это пожалуйста. Красивая смерть среди стихий… Но здесь, в каком-то подвале… Да это же просто бредни!..

Он произносит это так выразительно, так отрывисто и в то же время так убедительно, что швед сдается, и вот они уже один за другим влезают на самый верх ужасной трещины.

Путники отвязываются, делают привал, чтобы хоть немножко промочить горло и заморить червячка. Рассвело. Холодное, тусклое солнце освещает величественный амфитеатр пик и копий, над которыми, все еще на высоте полутора тысяч метров, вздымается Монблан. В сторонке, разводя руками и покачивая головой, о чем-то совещаются проводники. Напружившись, выгнув спину, они грузно лежат в коричневых куртках

на совершенно белом снегу, и при взгляде на них кажется, будто это сурки готовятся к зимней спячке. Бомпар и Тартарен, прозябшие и встревоженные, оставив шведа одного доедать завтрак, подходят к проводникам как раз в ту минуту, когда старший с мрачным видом говорит другим:

— Курит он трубку, курит — это уж как дважды два.

— Кто курит трубку? — спрашивает Тартарен.

— Монблан, сударь. Взгляните.

И с этими словами проводник показывает ему на самой вершине что-то вроде султана, белый дым, который ветром относит в сторону Италии.

— А когда Монблан курит трубку, что же это все-таки значит, любезный друг?

— Это значит, сударь, что на вершине свирепствует снежная буря и что скоро она придет сюда, к нам. А это, нелегкая побери, дело нешуточное!

— Вернемтесь! — зеленея, говорит Бомпар.

А Тартарен подхватывает:

— Да, да, *кнэчно!* Глупое самолюбие побоку!

Но тут вмешивается швед. Он заплатил деньги за то, чтобы его привели на Монблан, и никакая сила его не остановит. Если никто его не поведет, он пойдет один.

— Трусы! Трусы! — говорит он, обращаясь к

проводникам тем же замогильным голосом, каким только что подбивал себя на самоубийство.

— А вот мы вам покажем, какие мы трусы… Связывайся — и в путь! — кричит старший проводник.

На сей раз решительно противится Бомпар. С него довольно, пусть его ведут обратно. Тартарен горячо поддерживает его.

— Вы же видите, что этот молодой человек сумасшедший!.. — кричит он, показывая на шведа, который быстро шагает вперед под уже начинающейся метелью. Но коль скоро проводников обвинили в трусости, их ничто уже не в силах удержать. В сурках пробудился героизм, и Тартарен не может даже добиться, чтобы его с Бомпаром отвели в Гран-Мюле. Впрочем, тут недалеко: три часа ходьбы, три часа двадцать минут, если им боязно будет одним идти через большую трещину и они ее обойдут.

— Да, чтоб ее, нам будет боязно!.. — откровенно признается Гонзаг, и обе партии расходятся в разные стороны.

И вот тарасконцы остаются одни. Связавшись веревкой, они осторожно двигаются по снежной пустыне; Тартарен идет впереди, с важным видом нащупывая дорогу ледорубом, — он проникнут

сознанием лежащей на нем ответственности, и это сознание придает ему сил.

— Смелей, не падать духом!.. Ничего, выберемся!.. — поминутно кричит он Бомпару. Так командир в бою заглушает в себе самом страх, махая саблей и крича солдатам: «Вперед, растак вашу так!.. Не все пули метки!»

Но вот опасная расселина остается у них позади. Отсюда до их конечной цели серьезных препятствий больше не встретится. Но ветер бушует, ветер слепит глаза снегом. Идти дальше нельзя, иначе заблудишься.

— Остановимся на минутку, — говорит Тартарен.

Исполинская ледяная глыба предоставляет им приют в углублении, образовавшемся в нижней ее части. Путники залезают туда, расстилают непромокаемый плащ президента и раскупоривают флягу с ромом — всю остальную провизию захватили с собой проводники. По телу разливается блаженное тепло, а удары ледоруба, теперь уже чуть слышно доносящиеся с высоты, возвещают им, что экспедиция продвигается успешно. В сердце П.К.А. они отзываются сожалением о том, что он не дошел до вершины Монблана.

— Да ведь никто не узнает! — цинично возра-

жает Бомпар. — Носильщики взяли с собой знамя, и в Шамони подумают, что это вы его водрузили.

— Вы правы, честь Тараскона спасена… — проникшись его доводами, заключает Тартарен.

А стихии свирепствуют, поднимается вьюга, снег валит хлопьями. Друзья молчат, в голове у них теснятся мрачные мысли, им приходит на память кладбищенская витрина старого трактирщика, его печальные рассказы, предание об американском туристе, которого нашли окаменевшим от голода и холода, с записной книжкой в судорожно сжатой руке, — с книжкой, куда он заносил все свои мытарства вплоть до последнего содрогания, когда у него выпал карандаш и он не дописал своей фамилии.

— У вас есть записная книжка, Гонзаг?

Тот сразу понимает, в чем дело.

— Ну да, еще записная книжка!.. Вы думаете, я останусь тут умирать, как тот американец?.. Надо отсюда выбраться! Идемте! Идемте!

— Немыслимо… Нас сейчас же унесет, как соломинку, и сбросит в пропасть.

— Ну так надо звать на помощь — трактир недалеко…

И Бомпар, став на колени и высунув голову наружу, похожий на корову, разлегшуюся на

пастбище, ревет:

— На помощь! На помощь! Сюда!

— Караул!.. — подхватывает Тартарен самым мощным своим басом, и по всей пещере прокатывается гром.

Бомпар хватает его за руку.

— Что вы делаете? Глыба!..

В самом деле, задрожала вся ледяная громада. Кажется, стоит еще только дунуть — и масса нависшего льда обрушится прямо на них. Они замирают на месте, окутанные жуткой тишиной, но тишину вскоре пробивает отдаленный грохот, и он близится, растет, все вокруг собой заполняет, катится из пропасти в пропасть и, наконец, замирает где-то в преисподней.

— Несчастный! — бормочет Тартарен, думая о шведе и его проводниках, которых, конечно, подхватила и сбросила лавина.

А Бомпар качает головой.

— Наше дело тоже дрянь.

Положение у них в самом деле отчаянное: буря разгулялась, и они не смеют пошевелиться в своем ледяном гроте, не смеют нос высунуть наружу.

А тут, словно нарочно, чтобы у них еще мучительнее защемило сердце, внизу, в долине,

накликая смерть, завыла собака. Вдруг Тартарен со слезами на глазах берет руки спутника в свои и, кротко глядя на него, дрожащими губами бормочет:

— Простите меня, Гонзаг, да, да, простите меня! Я был с вами резок, я назвал вас лгуном…

— А, вздор! Есть о чем говорить!

— Я меньше, чем кто-либо, имел на это право, я сам много лгал в своей жизни, и в этот страшный час я испытываю потребность излить, облегчить душу, обнаружить перед всеми свои обманы.

— Ваши обманы?

— Выслушайте меня, мой друг… Прежде всего никакого льва я не убивал.

— Этим вы меня не удивите… — хладнокровно замечает Бомпар. — Стоит ли из-за такой чепухи огорчаться?.. Это наше солнце виновато, мы родимся лгунами… Взять хоть бы меня… Сказал ли я за всю жизнь хоть одно слово правды?.. Только раскрою рот — и говорю уже не я: это юг Франции говорит во мне. Я рассказываю о людях, которых в глаза не видал, о странах, где никогда в жизни не был, и из всего этого получается такая хитросплетенная ложь, что в конце концов я сам в ней запутываюсь.

— Это все воображение, будь оно неладно! —

вздыхает Тартарен. — Мы — лгуны в силу своего воображения.

— Но все наши небылицы никому никакого вреда не причинили, а вот такой злобный завистник, как Костекальд…

— Не напоминайте мне про этого негодяя! — прерывает его П.К.А. и в порыве ярости принимается его честить: — Разэтакий такой! Ведь обидно же в конце концов…

Но тут, заметив, что Бомпар в испуге замахал на него руками, он понижает голос:

— Ах да, глыба!..

Вынужденный выражать свой гнев шепотом, бедняга Тартарен чуть слышно продолжает изрыгать хулу на своего недруга, чудовищно и уморительно разевая рот:

— Обидно погибать во цвете лет из-за какого-то мерзавца, который теперь преспокойно попивает кофе на Городском кругу!..

Но пока он кипятится, погода меняется к лучшему. Уже не метет, не крутит, в разрывах туч проглядывает лазурь. Скорее в путь! Связавшись с Бомпаром веревкой, Тартарен опять идет впереди, затем оборачивается и прикладывает палец к губам:

— Но только, Гонзаг, все это между нами.

— Ну понятно!..

Они бодро идут вперед по колено в только что выпавшем снегу, словно чистой ватой прикрывшем следы каравана. Тартарен через каждые пять минут сверяется с компасом, но тарасконский компас, привыкший к жаркому климату, в Швейцарии испортился от холода. Стрелка играет в «углы», подскакивает, колеблется. И путники идут куда глаза глядят, ожидая, что черные скалы Гран-Мюле вот-вот вырастут перед ними из однообразной и безмолвной белизны пиков, игол и бугорков, окружающей их со всех сторон, слепящей, пугающей, ибо она прикрывает опасные расселины у них под ногами.

— Спокойствие, Гонзаг, спокойствие!

— Вот этого-то мне как раз и недостает, — сокрушенно отзывается Бомпар и хнычет: — Ой, ступня!.. Ой, нога!.. Пропали мы. Не выбраться нам отсюда…

После двух часов ходьбы на середине заметенного снегом крутого ската Бомпар в ужасе восклицает:

— *Тартарррен,* да ведь мы поднимаемся!

— А, черт, я сам вижу, что поднимаемся! — ворчит Тартарен, которому начинает изменять его выдержка.

— А по-моему, должен быть спуск.

— Да, но что же вы от меня хотите? Взойдем на самый верх, — может быть, с другой стороны начнется спуск.

В самом деле, потом начинается спуск, но спуск ужасный, сначала по фирну, затем по отвесному почти леднику, а вдали, за свечением предательских белых покровов, виднеется хижина на скале, маячащей в глубине провала, который отсюда кажется бездонным. Коль скоро с дороги в Гран-Мюле путники сбились, надо до наступления темноты добраться до этого пристанища, но ценою каких усилий, каких, быть может, потрясений!

— Главное, Гонзаг, держите меня крепче. *Чтэ*?

— А вы меня, *Тартарррен*.

Они обмениваются наставлениями, уже не видя друг друга, разделенные гребнем, за которым скрывается Тартарен, и один из них продолжает карабкаться вверх, а другой начинает медленно, боязливо спускаться. Они уже не переговариваются, они напрягают все свои силы, чтобы не оступиться, не поскользнуться. Вдруг, уже на расстоянии метра от гребня, Бомпар слышит истошный вопль своего спутника, за этим следует неистовый, отчаянный рывок, и веревка

натягивается… Бомпар упирается, старается за что-нибудь ухватиться, чтобы удержать спутника над бездной. Но веревка, должно быть, попалась старая, ее слишком туго натянули, и она рвется.

— А, чтоб!..

— А, черт!..

Эти два страшных крика раздаются одновременно, нарушив царящие окрест безмолвие и безлюдье, а затем наступает жуткая тишина, гробовое молчание, и ничто уже больше не прорезает его во всем этом обширном царстве девственных снегов.

К вечеру человек, отдаленно напоминавший Бомпара, призрак с волосами, стоявшими дыбом, забрызганный грязью, мокрый насквозь, добрел до трактира на Гран-Мюле, и там его оттерли, отогрели и уложили спать, он же на все вопросы в состоянии был ответить лишь несколькими бессвязными словами.

— Тартарен… погиб… оборвалась веревка… — повторял он, всхлипывая и воздевая руки к небу.

Наконец всем стало ясно: стряслась беда.

Пока старый трактирщик в ожидании, что к его коллекции присоединятся новые останки, причитал и прибавлял еще одну главу к повествованию о несчастных случаях на Монблане, швед и его

проводники успели вернуться и с веревками, с лестницами, со всем спасательным снаряжением отправились на поиски злосчастного Тартарена, но — увы! — их усилия оказались тщетными.

На Бомпара точно столбняк нашел — он не мог сообщить им точные данные ни о самой драме, ни о том, где это произошло. Только на Дом-де-Гуте был найден обрывок веревки, застрявшей во впадине. Но — странное дело! Веревка была обрезана с двух концов каким-то острым орудием. Шамберийские газеты поместили снимок с веревки. Наконец, когда после многих походов, после тщательных розысков, продолжавшихся целую неделю, все убедились, что бедный *пррре-зидэнт* пропал, погиб безвозвратно, убитые горем депутаты выехали в Тараскон и взяли с собой Бомпара, потрясенный мозг которого все никак не мог свыкнуться с ужасным происшествием.

— Не напоминайте мне об этом! — говорил он, как только речь заходила о случившемся. — Никогда больше не напоминайте!

Вне всякого сомнения, к списку жертв Монблана присоединилась новая (и какая!) жертва.

XIV
Заключение

Более впечатлительного города, чем Тараскон, не было и нет в целом свете. В иной праздничный день, когда жители, все как один, высыпают на улицы, когда гремят тамбурины, когда на Городском кругу людно и шумно, пестрит в глазах от зеленых и красных юбок, от арльских косынок, а большие разноцветные афиши оповещают о борьбе взрослых и подростков, о бое камаргских быков, стоит какому-нибудь шутнику крикнуть: «Бешеная собака!..» или «Бык!..» — и все бегут, толкаются, мечутся, двери запираются на засовы, ставни хлопают, как во время грозы, и вот уже во всем Тарасконе пусто и тихо, ни одной живой души, ни звука, цикады — и те прячутся и настораживаются.

Такой вид имел Тараскон однажды утром, хотя утро это было не праздничное и не воскресное: лавки заперты, дома словно вымерли, улицы и площади стали как будто шире от тишины и безлюдья. *Vasta silentio*[57], — как говорит Тацит,

---

[57] Примечания: 57
необозримое безмолвие *(лат.)*

описывая Рим в день похорон Германика[58], и это сравнение Тараскона с облекшимся в траур Римом тем более уместно, что в тарасконском соборе сегодня молились о упокоении Тартарена и все население оплакивало своего героя, свое божество, непобедимого обладателя двойных мускулов, оставшегося навсегда среди льдов Монблана.

И вот, в то время как опустевшие улицы полнились тяжкими ударами погребального колокола, мадемуазель Турнатуар, сестра доктора, по состоянию здоровья никогда не выходившая из дому и изнывавшая от скуки, сидела, по обыкновению, в большом кресле, смотрела в окно и слушала похоронный звон. Дом Турнатуаров стоит на Авиньонской дороге, почти напротив дома Тартарена, и это достопримечательное жилище, хозяин которого никогда не вернется, наглухо запертая садовая калитка, все, вплоть до ящиков для чистки обуви, принадлежавших маленьким савоярам, что сидели рядком возле ограды, надрывало душу хворой девицы, вот уже более тридцати лет пылавшей тайною страстью к тарасконскому герою. О, тайна стародевиче-

[58] Примечания: 58

Германик (15 г. до н.э. — 19 г. н.э.) — приемный сын императора Тиберия, полководец, победитель германцев, любимец римского народа.

ского сердца! Следить взглядом, когда он в свой обычный час выходил из дому, спрашивать себя: «Куда это он?..» — смотреть, в чем он сегодня: в альпинистском костюме или в зеленой со стальным отливом куртке, — все это доставляло ей особое наслаждение. Тетерь она его уже не увидит. Она даже лишена последнего утешения — пойти помолиться за него вместе с другими тарасконскими дамами.

Внезапно длинное лицо мадемуазель Турнатуар, смахивавшей на белую лошадь, покрыл легкий румянец, ее тусклые глаза с красными веками широко раскрылись, а худая морщинистая рука сотворила крестное знамение… Да, это он, он шел по той стороне улицы… Сперва, ей показалось, что это — видение. Но нет, это и впрямь Тартарен, живой Тартарен, но только побледневший, жалкий, оборванный, кравшийся по стенам, как нищий, как вор. Но, чтобы читателям стало ясно, почему он появился в городе тайком, нам нужно вернуться на Монблан как раз в тот момент, когда два друга находились на разных склонах Дом-де-Гуте и Бомпар вдруг почувствовал, что веревка рванулась как бы от падения привязанного к ней тела.

На самом деле веревка застряла между двух

льдин, и Тартарен, почувствовав точно такой же рывок, тоже решил, что его товарищ сорвался и тащит его за собой. И вот в этот ужасный миг — боже мой, где мне только найти слова?.. — их обоих охватил страх смерти, и они, забыв торжественный обет, принесенный ими в отеле Бальте, инстинктивным движением одновременно перерезали веревку: Бомпар — ножом, Тартарен — ледорубом, а затем каждый из них пришел в ужас от своего злодеяния, каждый из них счел себя убийцей своего друга, и тут оба они бросились бежать в противоположных направлениях.

В то самое время, когда тень Бомпара появилась на Гран-Мюле, тень Тартарена добралась до Авесейльской сторожки. Каким чудом Тартарен спасся, сколько раз он скользил и падал? Только Монблан мог бы на это ответить, ибо несчастный П.К.А. двое суток пребывал в полном оцепенении и не мог вымолвить ни единого слова. Едва лишь он пришел в себя, его препроводили в Курмайер, представляющий собою нечто вроде итальянского Шамони. В отеле, где он решил побыть впредь до окончательного выздоровления, только и разговору было что о страшной катастрофе на Монблане — точно такого же происхождения, как несчастный случай на Сервене: еще один

альпинист сорвался в пропасть из-за того, что лопнула веревка.

Тартарен был уверен, что речь идет о Бомпаре, его мучила совесть, и он не смел ни догнать депутацию, ни возвратиться на родину. Он заранее читал на всех лицах и во всех взглядах: «Каин, где Авель, брат твой?..» Но он поиздержался, пообносился, а тут еще наступили сентябрьские холода, и все отели сразу как вымело, — пришлось все же собираться восвояси. Да ведь и то сказать: свидетелей его преступления не было. Ничто не мешает ему выдумать какую-нибудь историю. В дороге он было рассеялся, но уже совсем неподалеку от Тараскона, едва под голубым небом переливчато засверкали мягко очерченные Альпины, на Тартарена вновь нахлынули стыд, раскаяние, боязнь суда. И, чтобы не поднимать шума, он сошел с поезда не в Тарасконе, а на предпоследней станции.

Сколько раз, бывало, проходил он, как триумфатор, по этой чудесной Тарасконской дороге, на которую падает тень только от телеграфных столбов, по хрустящему под ногами белому-белому песку, во главе альпинцев или же стрелков по фуражкам! А теперь кто бы узнал в грязном оборванце, сторожким взглядом бродяги высмат-

ривающем полицейских, прежнего Тартарена, бесстрашного, щегольски одетого? Хотя стояла осень, но все же сильно пекло, и Тартарен с наслаждением ел в холодке, возле телеги, купленный им у огородника арбуз, а огородник изливал ему свою ярость на тарасконских хозяек, ни одна из которых не пришла нынче на рынок «из-за того, что идет заупокойная обедня по каком-то горожанине, который свалился в яму где-то в горах. Ишь, ишь, звонят!.. Отсюда слыхать...».

Сомнений не оставалось: этот заунывный похоронный звон, донесенный теплым ветерком в пустую деревушку, раздавался по случаю кончины Бомпара!

Какая встреча великому человеку, возвращающемуся на родину!

Когда, быстрым движением отворив и захлопнув калитку, Тартарен вошел в свой садик и увидел обсаженные самшитом узенькие, чистенькие дорожки, бассейн и фонтан, красных рыбок, заметавшихся, чуть только хрустнул песок у него под ногами, гигантский баобаб в горшке из-под резеды, на одно мгновение его душу окутал уют этой норы капустного кролика, после стольких тревог и приключений он вдруг почувствовал себя в безопасности, впал в бла-

женно-умиленное состояние. Но тут колокола, проклятые колокола зазвонили еще громче, и от этих гулких унылых ударов сердце у Тартарена снова болезненно сжалось. В похоронном звоне ему слышался вопрос: «Каин, где Авель, брат твой? Тартарен, что сталось с Бомпаром?» И тут он, подавленный, пришибленный, к великому ужасу красных рыбок, беспомощно опустился на горячий от солнца край бассейна.

Колокола смолкли. Шум толпы схлынул с соборной паперти, и там осталась лишь бормочущая нищенка да каменные изваяния святых. Служба кончилась, весь Тараскон направляется к Клубу альпинцев, где в торжественной обстановке Бомпар должен рассказать о катастрофе, дать подробный отчет о последних минутах П.К.А. В зале заседаний наряду с членами Клуба занимают места представители привилегированных сословий — офицеры, священники, дворяне, богатые коммерсанты, и в настежь раскрытые окна, сливаясь с речами этих господ, врываются то мощные, то жалобные звуки городского оркестра, расположившегося внизу на крыльце. Тарасконцы теснятся вокруг музыкантов, становятся на цыпочки, вытягивают шеи, пытаясь уловить хоть что-нибудь из того, что говорится на заседании,

но окна высоко, и так бы вся эта огромная толпа и осталась в неведении, если бы не несколько сорванцов, которые взобрались на большой платан и оттуда швыряют в толпу различные сообщения, как швыряются вишневыми косточками.

— Глянь, Костекальд притворяется, что плачет. А сам, подлец, уже уселся в президентское кресло… А бедняга Безюке как сморкается! Какие глаза-то у него красные!.. Ишь, ишь, знамя-то обвязано крепом!.. Вон Бомпар идет с тремя депутатами к столу… Что-то кладет на стол… Начал говорить… Должно быть, здорово! Слезы у всех в три ручья…

В самом деле, фантастический рассказ Бомпара все сильнее ударял по сердцам слушателей. Память к Бомпару вернулась, а с нею и воображение… Проводники, убоявшись непогоды, на вершину Монблана с ними не пошли, — туда взошли только он, Бомпар, и его славный спутник, и в течение пяти минут они стояли с развернутым знаменем на самом высоком пике Европы, а затем Бомпар с глубоким волнением начал рассказывать об опасном спуске, о том, как Тартарен покатился на дно расселины, и о том, как он, Бомпар, обвязавшись веревкой в двести футов длиной, стал шаг за шагом обследовать

пропасть:

— Двадцать раз, господа… да нет, что я говорю? Раз девяносто спускался я в эту ледяную бездну, но так и не нашел нашего несчастного *ппррезидэнта,* и все же я утверждаю, что сорвался он именно туда, так как во впадинах мне удалось обнаружить его останки…

С этими словами он выложил на стол осколок челюстной кости, несколько волосков из бороды, лоскут от жилета, петлю от подтяжек — короче, целую коллекцию, вроде той, что собрана в Гран-Мюле…

При виде этой выставки собрание уже не сдерживало порывов отчаяния. Даже самые черствые сердца, как, например, приверженцы Костекальда, даже наиболее солидные люди, вроде нотариуса Камбалалета и доктора Турнатуара, — и те роняли слезы величиной с графинную пробку. Присутствовавшие на заседании дамы испускали душераздирающие вопли, заглушаемые воем Экскурбаньеса, блеяньем Паскалона и звуками похоронного марша, в медлительно-скорбном басовом ключе исполнявшегося оркестром.

Видя, что волнение и расстройство чувств достигли у присутствующих своего предела, Бомпар закончил рассказ и горестным жестом указал, как

на вещественные доказательства, на реликвии, хранившиеся в баночках:

— Вот все, дорогие сограждане, что осталось от нашего славного, от нашего любимого президента… Прочее нам возвратит ледник через сорок лет…

Тут он хотел было рассказать людям несведущим о недавнем открытии, касающемся равномерности движения ледников, но в это время его прервал скрип маленькой дверцы в глубине залы — кто-то вошел… И вдруг перед оратором предстал бледный, как привидение, Тартарен.

— Э, Тартарен!..

— Эге, Гонзаг!..

И таково свойство этого удивительного племени, верящего самым неправдоподобным историям, самым смелым выдумкам и так же легко их опровергающего, что появление великого человека, останки которого покоились тут же на столе, сильного впечатления ни на кого не произвело.

— Послушайте, это недоразумение, — сказал успокоенный, сияющий Тартарен, кладя руку на плечо человека, которого, как ему казалось, он погубил. — Я исходил Монблан с двух сторон. Поднялся по одному склону, спустился по друго-

му — это и послужило основанием считать меня погибшим.

Тартарен умолчал, что с противоположного склона он съехал на спине.

— Чтоб ему пусто было, этому Бомпару! — сказал Безюке. — Он всю душу перевернул нам своей историей!..

Тут все засмеялись и стали пожимать друг другу руки, а на улице оркестр, который никакими силами не могли остановить, упорно продолжал играть похоронный марш в честь покойного Тартарена.

— Гляньте! Как сразу пожелтел Костекальд!.. — прошептал Паскалон командиру Бравида, показывая на оружейника, поднявшегося, чтобы уступить место президенту, добродушное лицо которого так и сияло. А Бравида и тут остался верен своему пристрастию к поговоркам, — глядя на низверженного, вновь занявшего подчиненное положение Костекальда, он тихо сказал:

— Аббатом был, ан глядь: стал служкою опять.

И заседание продолжалось.

1885

КОММЕНТАРИИ

Со дня выхода в свет «Необычайных приключений Тартарена из Тараскона» прошло тринадцать лет; книга приобрела огромную популярность, выдержала тридцать одно издание, была переведена на многие языки; инсценировка «Необычайных приключений» была поставлена в театре. Только Тараскон не мог простить писателю его насмешек. «Достойные доверия путешественники сообщали мне, что каждое утро, в час, когда провансальский городок открывает ставни своих лавок и вытрясает ковры на ветру, дующем с Роны, на всех порогах, во всех окошках мелькает все тот же сотрясаемый кулак, сверкает все то же пламя в черных глазах и слышится все тот же гневный вызов Парижу: „У, этот Доде! Если он только остановится здесь когда-нибудь…“» — шутил писатель в «Истории моих книг».

Мысль повести своего героя в горы пришла Доде во время его второго путешествия в Швейцарию, в 1883 году. Еще предыдущим летом Доде посетил все те места, в которых потом побывал его герой: он осмотрел озеро Четырех кантонов, поднимался на фуникулере, который презрел Тартарен, в отель «Риги-Кульм», где не мог из-за плохой погоды видеть знаменитый солнечный восход, но зато стал свидетелем импровизирован-

ного бала, затем через озеро Ури он отправился на «площадку Вильгельма Телля», после целого ряда экскурсий приехал в Гриндельвальд, к подножию Юнгфрау, а оттуда — к Малой Шейдек, где, несмотря на то что у него болели ноги, пошел осматривать ледник; за вход ему, к величайшему его изумлению, пришлось заплатить пятьдесят сантимов.

В следующем году Доде с сыновьями и с издателем Лемерром снова едет в Альпы, на сей раз — в Романскую Швейцарию. Его маршрут: Монтре, Женевское озеро, Аннеси, потом Шильонский замок, Кларанс, Веве, Лозанна.

Написал Доде вторую часть «Тартарена» лишь в 1885 году, за несколько летних и осенних месяцев. Работал он над ней главным образом в курортном местечке Ламалу, куда ему приходилось теперь ездить ежегодно. В конце года книга вышла в издательстве Леви, а в 1886 году — в издательстве Фламмариона и имела огромный успех. Любопытно отметить, что описания восхождения были настолько убедительными, что автора приняли за заправского альпиниста: Французский альпийский клуб избрал его своим почетным членом, а знаменитый английский альпинист лорд Вимпер прислал ему свою книгу

с автографом.

Во второй части Тартарен встречается с персонажами других произведений писателя: с профессором Шванталером, героем «Часов из Буживаля», с Астье-Рею, будущим героем «Бессмертного», и, наконец, с Бомпаром, изображенным в романе «Нума Руместан». Рядом с замороженной чопорностью туристов непринужденность Тартарена выигрывает, кажется теплой и искренней. Точно так же выигрывает Тартарен с его рыцарскими иллюзиями от сопоставления с Экскурбаньесом и Бомпаром, в которых южная шумливая бравада и южная фантазия доведены до крайних пределов карикатуры. «Доброта и нежность» начинают проступать у Тартарена сквозь смех и шутку.

Но есть в книге подлинные «герои дела», в столкновении с ними раскрывается вся неспособность Тартарена на истинный подвиг. Это русские революционеры — «нигилисты». По свидетельству Люсьена Доде, его отец, всегда повторявший, что он «ненавидит политику», вместе с тем постоянно следил за газетами и был в курсе политических дел в самых отдаленных странах; при этом интересовали его больше всего люди, делавшие политику. Нет ничего удивительного, что внимание его привлекли террористы-наро-

довольцы, героические дела которых, особенно после цареубийства 1 марта 1881 года, стали известны всему миру. И не случайно в «Тартарене на Альпах» Доде приписал Соне Васильевой подвиг Веры Засулич, стрелявшей 24 января 1878 года в петербургского градоначальника Трепова, Манилову — покушение Степана Халтурина, устроившего 5 февраля 1880 года взрыв в Зимнем дворце.

По-русски «Тартарен на Альпах» был напечатан в 1887 году в журнале «Русская мысль» (NN 1-3,5). Однако «русская линия» романа мешала его распространению в России. В журнальном варианте часть эпизодов, связанных с русскими революционерами, изъята, в других эпизодах они превращены в таинственных «анархистов» без имен и национальности. В том же варианте текст вышел и отдельной книгой вместе с «Необычайными приключениями» — в издании редакции «Русской мысли» (1888). Затем «Тартарен на Альпах» не переиздается; даже в Полном собрании сочинений издательства братьев Пантелеевых напечатаны только «Необычайные приключения» и «Порт-Тараскон». Лишь в 1927 году в издании «Универсальной библиотеки» был напечатан сокращенный текст романа, в котором,

однако, присутствует «русская линия». Полный текст был выпущен в 1928 году издательством «Земля и фабрика» под редакцией М.Зенкевича.